

# Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы

Составители Арон Шнеер, Павел Полян

## Советские военнопленные-евреи – первые жертвы Холокоста в СССР

*«Ну и как же это вы, абрамы, живы остались?..»*

Гитлер сумел выстроить несколько простых и оказавшихся немецкому народу вполне доступных и хорошо им усвоенных иерархий. Кроме расовой таблицы о рангах, где евреи занимали самую низкую ступень, помимо идеологической шкалы степеней угрозы для Рейха и соответствующей встречной ненависти, где выше всех стояли «жидо-большевистская интеллигенция» и «политические комиссары» как носители коммунистической идеологии, своя иерархия была и у военнопленных: из всех армий многочисленных противников Рейха ниже всех «котировались» – советские военнопленные<sup>1</sup>.

Так что же тогда говорить о советских военнопленных еврейского происхождения, да еще и политруках! Что может быть ниже, хуже и ненавистнее?!..

Именно о них и пойдет разговор.

## Советские евреи в немецком плену

Согласно сведениям, опубликованным Ф.Д. Свердловым (Свердлов 2002: 214, без учета еще нескольких сот человек, призванных на военную службу, начиная с сентября 1944 г., в армии Румынии и Болгарии; источник сведений, к сожалению, не указан)<sup>2</sup>, в Красной Армии в 1941–1945 гг. находилось 450–470 тыс. евреев, что составляло примерно 1,7 % общей численности вооруженных сил СССР и 16 % всего еврейского населения СССР. Интересно, что 27 % евреев ушло на фронт добровольно, 80 % евреев-красноармейцев служило в боевых частях (Шапиро, Авербух III: 448,466–477).

Исходя из той же доли, число погибших евреев должно было бы составить порядка 205 тыс. чел.<sup>3</sup> Данные ЦАМО лишь незначительно отличаются от этой цифры – 198 тыс. погибших в бою, умерших от ран и болезней или пропавших без вести (Шнеер II: 29, со ссылкой на: Штейнберг 1995: 220–2214). Звания Героя Советского Союза был удостоен 131 еврей, из них 45 посмертно (Марьяновский, Соболев 1997:14–15)<sup>5</sup>.

По мнению немецкого военного историка Р. Оверманса, немецкая политика по отношению к иностранным военнопленным во время Второй мировой войны во всем была приемственна

по отношению к политике периода Первой мировой, кроме одного – еврейского вопроса.

Согласно «Энциклопедии Холокоста», в немецкий плен в годы войны попало в общей сложности 200 тыс. военнопленных-евреев (Enzyklop?die des Holocaust II: 814). При этом приходится пересмотреть устоявшуюся точку зрения, согласно которой дискриминацию и репрессии испытали на себе только военнопленные армий двух «восточных» стран – Польши и СССР, тогда как отношение к военнопленным-евреям из армий их «западных» союзников – американской, английской, французской, канадской, австралийской и других, а также из югославской армии – ничем не отличалось от отношения к военнопленным-нееврейцам. Пересмотру тут подлежит не тезис о различном отношении к евреям из восточных и западных армий, а единственно утверждение о равном отношении ко всему контингенту западных военнопленных. На самом деле и в их среде имела место отчетливая дискриминация евреев, правда, не доходившая, как правило, до настоящих репрессий и геноцидальных акций.

Женевские соглашения предусматривали обособление и раздельное содержание военнопленных по критерию их гражданства, но никоим образом по этнической принадлежности. Свидетельства самих бывших военнопленных западных армий говорят о настойчивых попытках командования лагерей, во-первых, идентифицировать евреев из их числа и, во-вторых, сегрегировать их и изолировать.

Практиковалась своего рода «геттоизация» лагерей – содержание евреев-военнопленных в обособленных бараках в пределах лагеря или назначение им особенно грязных работ. В некоторых лагерях их все-таки заставляли носить желтую звезду, но, после протестов, это требование снималось.

Что касается отношения к евреям из польской и советской армий, то оно было радикально иным: начать с того, что всех военнопленных Польши и СССР Германия самочинно вывела из-под защиты международного права. Советских – по причине отсутствия подписи СССР под Женевской конвенцией 1929 г., а польских – по причине «несуществования польского государства», как это было заявлено 20 ноября 1939 г. в письме германского МИДа шведскому посольству в Берлине об утрате Швецией мандата страны-покровительницы польских военнопленных (Датнер 1963:19). Еврейские же военнопленные обоих государств обрекались смерти, только смерть евреев из польской армии подготавливалась последовательно и поэтапно, с частичной все-таки оглядкой на Женевскую конвенцию, тогда как евреев-красноармейцев убивали по возможности на месте – и безо всякой оглядки на что бы то ни было, кроме обстоятельств конспирации и ненужной огласки.

Суммарное число польских военнопленных-евреев, попавших в немецкий плен в сентябре 1939 г., составляло, согласно Ш. Краковскому, 60–65 тыс. чел. (Krakowski 1992: 217). В общем и целом обхождение с польскими военнопленными-евреями регулировалось приказом командующего ОКБ В. Кейтеля от 16 февраля 1939 г.

При регистрации их отделяли от других военнопленных и размещали обособленно (иногда – в изолированных зонах, иногда просто в отдельных палатках). Их содержали на «особом» – пониженном – пайке, условия их трудового использования и охраны приближались к условиям концлагеря: к весне 1940 г., по оценке Ш. Краковского, в лагерях умерло или было убито около 25 тыс. чел. из их числа (Ibid, 217–218).

В отличие от ситуации с французскими военнопленными-евреями, в отношении польских военнопленных-евреев немецкие власти как раз практиковали политику перевода их в статус гражданских лиц. Но при этом они передавались в руки не войсковой, т. е. эсэсовской, охраны, что само по себе было серьезной угрозой (Датнер 1963: 20). Выведение из статуса военнопленного в данном случае было уже не привилегией, а скорее формальной прелюдией к переводу в уже созданные к этому времени еврейские гетто – с последующим разделением

ими судьбы гражданских его обитателей.

В конечном счете, из 60–65 тыс. польских военнопленных-евреев до конца войны дожило едва ли несколько сотен человек. Кроме того, выжило большинство из около 1000 польских военнопленных евреев-офицеров. На их жизнь не покушались, и их смертность ничем не отличалась от смертности остальных офицеров (Krakowski 1992:219)7.

## Советские военнопленные-евреи и точка отсчета Холокоста

С первых же часов войны Третий Рейх не оставлял евреев без своего смертоносного «внимания». Первые убийства советских военнопленных-политкомиссаров и среди них – евреев датируются буквально начиная с 22 июня 1941 г.!

Вот несколько свидетельств такого рода.

В отчете о деятельности отдела «1с» 123-й пехотной дивизии от 22 июня 1941 г. читаем: «Среди взятых в плен русских находился политкомиссар Зарин из 178-го строительного батальона. Согласно приказу, в 20.35 он был, как положено, расстрелян» (БАМА, РН 26-123/143; сообщено Ф. Ремером). Или, в вечернем донесении отдела «1с» 6-й армии в группу армий «Юг» от 23 июня 1941 г.:

«22 и 23 июня войсками захвачено и подвергнуто соответствующему обращению 2 политкомиссара» (ВА-МА, РН 20-6/489. В1. 279; сообщено Ф. Ремером). В вечернем боевом донесении Главнокомандования 4-й армии от 27 июня 1941 г. сообщалось о ликвидации, начиная с 22 июня, шести политкомиссаров (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 185. Л. 39–40). Офицер связи отдела «1с» 4-й танковой группы лейтенант Боте (Bothe) докладывал 10 июля 1941 г. в Группу армий «Север» об уничтожении за период с 22 июня (sic!) по 8 июля 101 политкомиссара (см.: Jakobsen 1965: 192–193, dok. 15; см. также: F?rster 1983:434–440).

Как видим, убийцами тут являлись никак не профессиональные антисемиты-погромщики из АГ, а исключительно немецкие военнослужащие регулярной немецкой армии. Но в отдельных, географически благоприятных, случаях не отставали и «профессионалы». Так, 22 июня отдел «1с» АК 7 (по всей видимости – АК 7б) доложил в 4-ю армию о ликвидации одного политкомиссара (ВА-МА, РН 20-4/681; сообщено Ф. Ремером).

Кстати, первое массовое убийство гражданских евреев произошло не намного позже – 24 июня, когда около 100 человек было расстреляно зондеркомандо «Тильзит» в приграничном с Восточной Пруссией литовском местечке Кретинга (или, по-немецки, Гарсден). Расстрел произошел по инициативе начальника АГ «А» Шталеккера, прибывшего в Тильзит еще 22 июня. При этом сама расстрельная команда состояла в основном из кадров полицейского округа Тильзит, расположенного прямо по соседству – по другую сторону бывшей советско-немецкой границы<sup>8</sup>. Вместе с евреями тогда расстреляли еще и несколько коммунистов и даже жену бывшего советского коменданта города (Angrick 2003:131).

В конце июня погромы и убийства евреев прокатились по большим городам (Каунасу, Львову, Белостоку и др.), где прямыми убийцами поначалу были не столько сами немцы, сколько местные – главным образом литовские и украинские – националисты-погромщики (разумеется, при полном понимании, благорасположении и прямом подстрекательстве немецкой стороны).

Все это заставляет еще раз вернуться к проблеме хронологического начала Холокоста. Ведь до сих пор принято считать, что геноцид евреев как политическая задача впервые был

озвучен только в конце января 1942 г., на конференции в Ваннзее. К. Герлах датирует это же самое декабром 1941 г. (первоначальным временем, когда должна была состояться встреча в Ваннзее), а К. Браунинг – сентябрем 1941 г., увязывая это решение с началом массовых расстрелов гражданского еврейского населения на оккупированной территории СССР. Так что же – и начало Холокоста в таком случае следовало бы датировать сентябрем, декабром 1941 г. или даже февралем 1942 г.?

Но как же тогда с уже убитыми к этому времени десятками и сотнями тысяч советских евреев – военнопленных и гражданских? Разве это – еще не Холокост? Неужели все это акты самодеятельности или оплошности подчиненных?

Конечно же, это – Холокост или, точнее, его самая первая стадия (Альтман 2002:193). И невозможно себе представить, что, будучи одной из постоянных в разговорах Гитлера с его ближним кругом, эта тема, а равно и подготовка и «старт» систематического народоубийства не оставили после себя документальных или мемуарных следов. По версии А. Штрайма, прямой приказ об уничтожении евреев был принят всего лишь за несколько дней до нападения на СССР, причем приказ этот, во избежание огласки, был отдан Гитлером устно и спущен вниз – тоже устным способом – через Гиммлера и Гейдриха (Longerich 1992: 85). Так, согласно П. Лонгериху, Гейдрих буквально за несколько дней до 22 июня издал устный приказ об убийстве всех коммунистических функционеров и всех евреев на партийных и государственных должностях

Согласно П. Лонгериху, анализ «Сообщений о событиях в СССР» (ВАН. R 58. № 214–2219) позволяет выделить следующие две стадии: доклады первых шести недель войны были посвящены исключительно еврейским погромам, инспирированным немцами, но проходившим без прямого немецкого участия<sup>10</sup>, а также массовым расстрелам мирного населения, большую часть жертв которых при этом составляли евреи-мужчины, при этом вовсе не занимавшие каких-либо государственных или партийных постов (тут следует сделать маленькую оговорку о том, что хронологически первые убийства евреев на территории СССР происходили, как правило, без прямого участия айнзатцгрупп (АГ) и айнзатц-коммандо (АК) еще и потому, что они прибыли на места своей деятельности только в конце июня<sup>11</sup>). Вторая фаза, по Лонгериху, отличается от первой лишь тем, что с августа 1941 г. расстреливать начали не только евреев, но и евреек и еврейских детей (Longerich 1992:85–89).

Тем самым никакой прямой связи между «функцией» жертв в советском государстве и их уничтожением не было: на практике срабатывала одна только «привязка» – национальная принадлежность жертв! И это дает П. Лонгериху (а вслед за ним и нам) серьезные основания полагать, что все разговоры о евреях-функционерах, включая и «Приказ о комиссарах» от 6 июня (см. ниже), не более чем ширма для куда более радикального устного приказа, с самого начала предусматривавшего ликвидацию евреев в целом (и поначалу, возможно, ограниченную евреями мужского пола).

Не забудем и то – впрочем, достаточно малоизвестное – обстоятельство, что даже среди советских моряков торгового флота – выходцев из балтийских стран, интернированных тотчас же после (а иногда и до!) объявления войны 22 июня, поводилась своего рода «селекция»: матросов-евреев обособляли и снимали с судов, тогда как неевреев оставляли на месте (Полян 2002:127).

Коль скоро это справедливо для мирного еврейского населения, то тем более это очевидно и для евреев – военнослужащих Красной Армии.

Все они однозначно подлежали ликвидации, и для этого не нужно было дожидаться ни прибытия айнзатцкоммандо, ни боевых приказов Гейдриха, которые в действительности не более чем упорядочивали этот процесс.

Первыми из числа советских евреев соприкоснувшись с вермахтом и СС (при сдаче в плен или вскоре после этого), именно

советские военнопленные-евреи стали первыми по времени жертвами Холокоста в СССР.

И это совершенно принципиальное и до сих пор широко и охотно игнорируемое обстоятельство необходимо особо отметить и еще раз подчеркнуть:

Холокост как система физического уничтожения немцами евреев хронологически ведет свое начало именно с систематического убийства евреев-военнопленных!

Советские военнопленные-евреи и нормативная база их убийства

В самом начале весны 1941 г. подготовка Германии ко вторжению в СССР перешла в активную фазу.

Отдел охраны тыла ОКБ под руководством генерала Варлимонта подготовил и передал в штаб ОКБ проект «Директивы об особых областях, согласно указанию № 21 («Барбаросса»)». 3 марта начальник штаба ОКБ Йодль вернул его обратно с пометой о том, что в окончательном тексте фюрер просил бы учесть следующие указания: оперативная полоса сухопутных войск должна быть как можно менее глубокой, за нею следуют области не военного, а гражданского управления (рейхскомиссариаты и пр.), через которые и будут осуществляться политика на востоке<sup>12</sup>. Эти области насыщаются силами СС, полевой жандармерии и полиции, – войскам же предстоит сосредоточиться главным образом на военных задачах (Jacobsen 1967:143–144).

Указания эти Йодль получил, скорее всего, на встрече с Гитлером и Кейтелем, состоявшейся накануне. Тогда Гитлер, может быть, впервые коснулся вопроса, а что же делать с политическими противниками Рейха в СССР? Его собственная позиция уже вполне сформировалась: это будет борьба мировоззрений, борьба не на жизнь, а на смерть, поэтому – политических врагов следует уничтожать под корень, безо всякой оглядки на международное право. Из этого вытекала важность роли «чистильщика», которую фюрер отводил Гиммлеру и СС. В то же время тема экзекуций с самого начала не упускалась из виду и на сугубо военных подготовительных совещаниях.

Действия АК координировал непосредственно Гиммлер, в каждый отдел «1с» (контрразведка) армейского уровня он направляет связного офицера СС (рангом не выше начальника «1с»), но при этом экзекуции настолько, насколько это было возможно, осуществлялись не на глазах у войск. От имени своей группы армий Шах фон Виттенау потребовал ускоренного структурирования групп армий и доукомплектования частей полиции безопасности (в том числе для обеспечения безопасности войск на марше), а также максимально четкого распределения обязанностей и полномочий между ними и СС (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 121; см. также: *Verbrechen der Wehrmacht* 2002:57, факсимиле со ссылкой на: РГВА. Ф. 1303. Оп. 1. Д. 41. Л. 41).

Неделей позже, 13 марта, переговоры продолжились на куда более высоком уровне. ОКБ (Кейтель), ОКХ (Э. Вагнер), СС (Гиммлер) и РСХА (Гейдрих) обсуждали практически то же самое – распределение компетенций и обязанностей на оккупированной советской территории. Учитывая как указания Гитлера<sup>13</sup>, так и пожелания Шаха фон Виттенау, новый проект, с одной стороны, предоставлял СС и АГ полную самостоятельность в вопросах карательной политики против местного населения, но с другой стороны – действовать они должны были по возможности скрытно и вне войсковых соединений ОКХ<sup>14</sup>.

Это «вне войсковых соединений», по замечанию Р. Огоррека, подчеркивало попытку армии (и прежде всего ОКХ) как можно более дистанцироваться от карательных органов. Деятельность последних регламентировалась строго фиксированными рамками и ограничивалась исключительно глубокой тыловой зоной сухопутных войск<sup>15</sup>.

Карательная же функция непосредственно в армейском тылу закреплялась за соединениями полиции безопасности (зипо) и СД, которым в этой связи присваивалось специальное обозначение «особые команды» (Sonderkommando, или ЗК). В их функции в первую очередь входили устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за особо важными функционерами, архивами и картотеками враждебных Рейху организаций, действовавших в ближайшем тылу. Задача же физической расправы над евреями, в отличие от круга задач АГ и АК, хотя и не была им противопоказана, но фактически не была первостепенной, и часто палачами подготовленных ЗК жертв были не они, а как раз подоспевшие следом АГ и АК (Gerlach 1999:540).

25 марта Вагнер и Гейдрих встретились вновь. Результатом их переговоров стал новый проект указа об урегулировании деятельности полиции безопасности и службы безопасности в соединениях сухопутных сил от 26 марта.

Подготовленный ОКХ и РСХА проект указа был подписан командующим ОКХ фон Браухичем 28 апреля без каких бы то ни было изменений в тексте (International Military Tribunal, N?rnberg. Doc. NOKW 2080; рус. пер.: Наумов II: 122–123, № 417). Фактически указ означал и то, что АГ и АК могут приступать к своим «спец-операциям» только с известным запаздыванием по фазе, поскольку тыл сухопутных войск может возникнуть лишь тогда, когда сами войска продвинулись на значительное расстояние вперед.

И действительно, известны случаи, когда на обращения руководителей АГ о заблаговременном их перебазировании в районы будущей деятельности военные отвечали отказом, ссылаясь на регламентирующее соглашение от 28 апреля 1941 г., а также на то, что тыловая зона сухопутных войск, где им надлежало бы действовать, еще не сформировалась<sup>16</sup>.

Это – исключительно важное обстоятельство, и оно нуждается в определенном осмыслении. Оно означает, что между карательной деятельностью АГ и наступательными операциями вермахта принципиально обязательно существовал некий временной лаг запаздывания, величина которого зависела, во-первых, от скорости продвижения вермахта вперед, как, впрочем, и от того, наступает ли он вообще. Из этого же априори следует, что деятельность АГ и АК на оккупированной территории СССР могла начаться не ранее, чем тыловая зона сухопутных войск впервые сформируется, а это – даже в условиях триумфального продвижения вперед – все же требовало определенного времени. Тем самым АГ и АК никак не могли входить – и не входили – в число палачей евреев из мирного населения, убитых в первые же дни войны<sup>17</sup>.

И действительно, хорошо документированная история первоначального выдвигания АГ и АК говорит о том, что все они прибыли в места изначальной дислокации самое раннее 28–29 июня (правда, к выполнению своих обязанностей они приступили сразу же).

Однако «цена» недопущения АГ и АК в оперативную зону и ближний тыл оказалась высокой: немалую толику задач по первоначальному выявлению и уничтожению врагов Рейха в этих районах, не говоря уже о селекции военнопленных, вермахту пришлось брать на себя (подробнее см.: Огоррек 1996: 27–42). Именно активного соучастия в ликвидации «большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции» жестко потребовал от вермахта Гитлер в своей программной пламенной речи, произнесенной перед высшими офицерами 30 марта 1941 г.

В тот же вечер Гальдер записал в боевом дневнике: «Точно так же как политических функционеров, так и войсковых комиссаров после их пленения надлежит отделять от других военнопленных и передавать айнзатцгруппам СД... Там, где такая передача по военным обстоятельствам невозможна, функционеры и комиссары должны расстреливаться войсками» (Grainer 1951: 371).

Тогда, собственно, и была озвучена идея будущего приказа о комиссарах (Ogorreck 1996: 39–40; Schramm 1965: 337, запись от 30 марта 1941 г.). Уже назавтра, 31 марта, ОКХ получило задание разработать проект директивы об обращении с захваченными в плен политработниками. Над проектом работали начальник Отдела войск противника на Востоке ОКХ генерал-лейтенант Э. Мюллер и его советник по правовым вопросам д-р Латтман (F?rster 1983: 436). Генерал Гальдер, начальник штаба ОКХ, просуммировал их результаты одной фразой: «В восточной кампании войскам придется принять участие в борьбе мировоззрений» (цит. по: Ibid 436, запись от 6 мая 1941 г.) – и, кажется, тут имелись в виду не философские диспуты!<sup>18</sup>

Результаты работы ОКХ, надо полагать, поступили и в ОКБ, где велась и своя работа над соответствующими проектами. 12 мая генерал Варлимонт докладывал в Берлине начальнику штаба вермахта генерал-полковнику Йодлю соображения об обращении с политическими и военными руководителями, взятыми на востоке в плен. Проект Варлимонта не только не рассматривал их как пленных, но и предусматривал их физическое устранение, причем право принятия конкретного решения о расстреле предоставлялось всем офицерам вермахта, правомочным накладывать дисциплинарные взыскания, а основанием, достаточным для принятия такого решения, являлось бы любое подтверждение самого факта принадлежности к политорганам Красной Армии (в том числе и самое простое – по форме одежды).

Другое дело, что операции такого рода должны были вестись не в ущерб самим боевым действиям, – вопросы жизни и смерти конкретных политкомиссаров можно было немного и отложить. Но, самое позднее, они должны были уничтожаться в дулагах: их транспортировка в глубокий тыл и тем более в Рейх не предусматривалась. Задача выявления политработников в тылу (за исключением политработников из числа военнопленных) также доверялась «специалистам» из АК.

Из наброска Варлимонта явствует, что в это же время существовал еще и альтернативный проект – памятка № 3 рейхслайтера А. Розенберга: она предусматривала ликвидацию только высших и крупных чиновников при оставлении в живых средних и мелких – в интересах хозяйственного управления оккупированными территориями.

Поэтому Варлимонт предлагал вынести на решение фюрера следующие принципы: а) политкомиссары в войсках безоговорочно подлежат уничтожению; б) с политическими и хозяйственными руководителями надлежит обращаться в зависимости от их враждебности по отношению к оккупационным властям: враждебных, в соответствии с приказом «Барбаросса», рассматривать как партизан и уничтожать, а внешне лояльных – временно оставлять и передавать в руки ЗК, компетентных разобраться в каждом конкретном случае. Начальник штаба ОКБ Йодль отреагировал на записку Варлимонта так: «Следует считаться с возможностью репрессий против германских летчиков. Лучше всего поэтому представить все это мероприятие как расплату»<sup>19</sup>.

В то же время нельзя не отметить той осторожности и постепенности, с какими вермахт, в отличие от НСДАП, СС или РСХА, допускал в свои нормативные акты прямые указания на их смертоносный антисемитизм. Военные ограничивались, по возможности, эвфемизмами типа «особые операции по заданию фюрера», «специальное обхождение» и т. д. Что бы ни обсуждалось в марте и апреле между вермахтом, СС и РСХА, как бы зажигательно ни говорил Гитлер 30 марта, – первые антисемитские пароли в письменной форме в делопроизводстве вермахта датируются только началом мая.

Так, в приказе командующего 4-й танковой группы Гепнера от 2 мая 1941 г. о предстоящих боевых действиях на Востоке говорится как о борьбе германцев со славянами и об «отпоре еврейскому большевизму» (ВА-МА. LVI АК, 17956/7а; рус. пер.: Наумов II: 151, № 432)<sup>20</sup>. В датированном 6 мая наброске приказа об обхождении с враждебно настроенными местными жителями на оккупированных территориях упоминается беспощадное подавление любых носителей «еврейско-большевистского мировоззрения» среди гражданского населения (см.: Jakobsen 1965:175–176)<sup>21</sup>.

Последний набросок являлся одним из подготовительных документов к Указу Гитлера «О применении военной юрисдикции и об особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 г.<sup>22</sup> Он освобождал военнослужащих вермахта от всякой судебной ответственности в оперативной зоне войск и практически являл собой самую настоящую индульгенцию на любое убийство или насилие против советских граждан.

Интересно, что в окончательном тексте самого Указа «большевистское влияние» осталось, а вот упоминание «еврейскости» исчезло (Jakobsen 1965:181–184, № 8; рус. пер. с датой 13 мая 1941 г.: Первые дни войны 1989: 52–54, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 564. Л. 23–26). А ведь это Указ, до середины июля прослуживший юридическим «прикрытием» для множества акций против евреев как из числа военнопленных, так и из местного населения!

Евреи же как таковые, безотносительно к большевистской идеологии, впервые упоминаются и вовсе только 4 июня 1941 г. – в «Инструкции о поведении войск в России»:

«1.1. Большевизм – смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Это разрушительное мировоззрение и его носители заслуживают того, чтобы Германия дала им бой;

2. Эта борьба потребует безоглядных и энергичных действий против большевистских поджигателей, партизан, саботажников, евреев и уничтожения без остатка любого активного и пассивного сопротивления с их стороны...» (Jakobsen 1965:187–188).

А двумя днями позже – 6 июня – была выпущена знаменитая «Инструкция по обхождению с политическими комиссарами», более известная как «Приказ о комиссарах»: «В борьбе с большевизмом на поведение врага в соответствии с принципами человечности или международного права

рассчитывать не приходится. В особенности от

политических комиссаров всех мастей как носителей духа сопротивления следует ожидать исполненного ненависти, жестокого и бесчеловечного отношения по отношению к нашим военнопленным. [Поэтому] войска должны сознавать: в этой борьбе по отношению к этим элементам нет места пощаде и оглядке на международное право. &lt;...&gt; Поэтому, схваченных

в бою или при сопротивлении, их следует, как правило, уничтожать на месте, применяя для этого оружие» (цит. по: Jakobsen 1965:188–191)<sup>23</sup>.

За несколько дней до нападения «Приказ о комиссарах» зачитывался в войсках, причем его интерпретация была доверена средним командирам. Их понимание задачи нередко было куда как более широким, нежели сам приказ.

Так, рядовой Руди Махке, попав в плен, в частности, показал: «Наш капитан Финкельберг делал в нашей роте доклад о Красной Армии за два дня до начала похода. Кратко были обсуждены знаки различия, затем он сказал, что в плен никого брать не нужно – это лишние едоки и вообще это раса, истребление которой является прогрессом. Комиссары, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, настоящие черти в образе человеческом и их



нужно истреблять, без колебаний расстреливать. Невыполнение этого приказа будет стоить жизни нам самим» (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 44. Л. 15а, 15б; собственноручные показания и перевод, без даты).

Тут, кстати, существенна именно сама по себе широкая свобода «интерпретации» приказа офицерами вермахта. Так что не следует переоценивать то обстоятельство, что евреи как таковые в «Приказе о комиссарах» даже не названы. Отмеченная только что свобода «интерпретации» с лихвой выправляла этот «недостаток».

К тому же есть основания полагать, что под комиссарами не в последнюю очередь в виду подразумевались именно евреи или, по крайней мере, в том числе евреи. Сплав «комиссарского» с «еврейским» непосредственно в головах разработчиков «Приказа

о комиссарах» характеризует одна прелюбопытнейшая фраза, всплывшая при обсуждении проекта ОКХ в Отделе у Э. Мюллера еще 26 мая: «Многие не-еврейские комиссары несомненно всего лишь попутчики и не являются приверженцами коммунистической идеи» (F?rster 1983: 436, со ссылкой на: ВА-МА. RH 19. III. № 722). Ю. Ферстер резонно усматривает в этом свидетельство типичности такого рода отождествления большевизма и еврейства.

Определенно восходя к стереотипам антисоветской пропаганды еще середины 1930-х гг.24, когда ведомство Геббельса охотно оперировало словами «жиды», «комиссары» и «большевики», как синонимами, такое отождествление было само собой разумеющимся и чуть ли не общим местом. Замороженные на двухлетие германо-советской дружбы, эти стереотипы были вновь подхвачены немецкой пропагандой накануне нападения на СССР. В первом же пункте датированных 10 июня 1941 г. и подписанных командующим ОКХ Йодлем «Указаний по пропагандистской деятельности в случае „Плана Барбаросса“» говорится: «Врагами Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно жидо-большевистское советское правительство со своими функционерами и Коммунистической партией, вынашивающими планы мировой революции» (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 10). Поэтому на эзоповом языке национал-социалистической идеологии за словом «комиссар» просвечивало слово «еврей» точно так же, как из словосочетания «особое обращение» проступало «убийство».

К. Браунинг довольно тонко заметил, что если при нападении на Польшу расправа с польскими евреями еще могла подождать до того момента, когда закончится истребление польской национальной интеллигенции, то в случае нападения на СССР ни евреям, ни большевикам уже не приходилось «ждать» друг друга: «И за теми, и за другими айнзатцкомандо охотились с одинаковым энтузиазмом, ибо и те, и другие являлись для них биологической и политической манифестацией все одного и того же – а именно „жидобольшевистского заговора“» (Browning, 1989:780)25.

8 июня свой приказ, соответствующий «Приказу о комиссарах» (но с грифом: «Приказ ОКБ»), выпустил и главнокомандующий ОКХ фельдмаршал фон Браухич, спустив его тем самым до армейских групп, армий и танковых групп (далее предусматривалась только устное оповещение) (Jacobsen 1967). Он сделал в нем два существенных пояснения, призванных удержать возможный произвол войск хоть в каких-то рамках: первое предусматривало со стороны военнопленного действия или отношение, однозначно направленное против вермахта, а второе предписывало осуществлять экзекуции, по возможности, вне зоны боя и только по приказу офицера. 10 и 11 июня Мюллер собрал офицеров отдела «1с» и войсковых судей уровня групп армий и армий у себя в отделе, вручил им копии приказа фон Браухича и проинструктировал (далее им предстояло самим инструктировать нижестоящих) (F?rster 1983:438).

Тем не менее, даже с учетом пояснений ОКХ, из текста «Приказа» многое оставалось так и не ясным. Например: в какой степени сфера его действенности распространялась и на

гражданских партийных руководителей, которых рекомендовалось расстреливать лишь в том случае, если они участвовали в боевых действиях, актах саботажа и т. д.? Другой неясный вопрос: до какого войскового уровня дотягивалось, в немецкой интерпретации, понятие «комиссар»? Ведь на уровне рот, батарей и эскадронов существовали не комиссары, а политруки, и на них действие «Приказа о комиссарах» было распространено только в августе 1941 г. (Ibid., 439, со ссылкой на: ВА-МА. RH 26–22. № 66, 67). Важнейшим признаком установления комиссарства считалось наличие на рукавах гимнастеров красных звездочек с золотистыми серпом и молотом, но точно такие же звездочки носили и военные корреспонденты, начальники клубов и домов офицеров, армейские артисты и музыканты. Как тут быть? (Лужеренко 1989:173).

Склонность трактовать этот приказ расширительно проявилась и в распространении его в некоторых случаях на всех евреев вообще<sup>26</sup>. Так, известно, что офицер отдела «1с» 22-й пехотной дивизии инструктировал 20 июня адъютантов командиров нижестоящих соединений – и чему? – «Обхождению с политическими комиссарами, евреями и прочими пленными» (F?rster 1983: 439, со ссылкой на: ВА-МА. RH 26-454/ № 6).

Другой пример. Начальник Отдела по делам военнопленных Данцигского военного округа генерал-лейтенант в отставке К. фон Остеррайх показывал после войны, что 24 июня 1941 г. он получил из ОКБ «Приказ о комиссарах», подписанный начальником Управления ОКБ по делам военнопленных генералом Рейнекке (Reinecke), в котором, как ему помнилось, немецким войскам и администрации лагерей для военнопленных приказывалось поголовно расстреливать русских военнопленных, принадлежащих к политическому составу Красной Армии, коммунистов и евреев. То, как запомнился ему этот приказ, куда важнее того, что в нем действительно было или чего не было (показания от 28 декабря 1945 г.: ВИЖ. 1991. № 3. С. 39–40, со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 103. Л. 137–144; публ. С.В. Биленко, А.В. Костенецкого).

Точно такая же «ошибка» зафиксирована и в следственном деле Вернера Фридриха, бывшего члена штаба 17-й армии. Его обвинили в дальнейшей передаче нижестоящим частям 17-й армии Приказа о комиссарах от 6 июня 1941 г., обозначенного тут же как Приказ о селекции и казни советских военнопленных еврейского происхождения, политкомиссаров и так называемых «невыносимых элементов» в лагерях (IfZ, M?nchen. Gn 02.42. Vorermittlungsverfahren 319 AR – Z 46/76 – АОК 17). На это же указывал в своих показаниях 1948 г. и штурмбаннфюрер СС Курт Линдов, в 1942–1944 гг. возглавлявший реферат IVA «1с» в Имперском Главном управлении безопасности (RSHA), занимавшийся вопросами военнопленных. Именно его реферат готовил приказы и расстрельные списки на военнопленных, уходившие потом в шталаги и концлагеря за подписью начальника Отдела IV Генриха Мюллера (Jacobsen 1967:223–225).

В добавлениях к «Приказу о комиссарах», выпущенных всего двумя днями позже, т. е. 8 июня, уточнялось, что расстреливать на месте следует не всех комиссаров, а только тех из них, кто вел себя по отношению к вермахту явно или нарочито враждебно. Это поправка была спасительной, но не для евреев, а лишь для части нееврейских политкомиссаров.

Интересно, что в «Указаниях по использованию русских военнопленных», изданных Кейтелем 8 июля, в конце сообщается: «...Особенности обращения с военнопленными в зависимости от их национальности настоящими &lt;указаниями&gt; не затрагиваются» (Полян 2002: 59). Это можно интерпретировать двояко: или эти «особенности» еще предстоит сформулировать в самом ближайшем будущем, или они считаются уже сформулированными, например, в той же «Инструкции о поведении войск в России» или в «Приказе о комиссарах».

Полностью нельзя исключать и существование какого-то иного, неназванного, приказа. Ведь то обстоятельство, что тот или иной документ не обнаружен, еще не означает того, что его и не было. Так что не стоит исключать и отдачу приказа устным образом, как это часто

практиковалось в Рейхе в особо деликатных случаях (см. ниже).

Из четырех первоначальных начальников АГ живым и дееспособным до Нюрнбергского трибунала дотянул один лишь Отто Олендорф (АГ «D»). Выступая 3 января 1946 г. на Главном Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля, он показал, что за 3–4 дня до отправки на восток в Претш приехал его начальник, руководитель I отдела РСХА бригаденфюрер СС Бруно Штрекенбах и, собрав начальников АГ и АК, объявил им устный приказ Гитлера общего характера об убийстве всех евреев, какие только попадутся в СССР на пути (а также некоторых других частей советского населения). Олендорф, и не он один, указывал также и на встречу 17 июня в Берлине, на которой Гейдрих дал общую установку относительно их действий в предстоящей войне (см.: Ogorreck 1996:47–52).

Определенный временной лаг-отставание был неизбежен и в деятельности зондеркоммандо, действовавших в ближайшем тылу отдельных сухопутных соединений. В первую очередь им предстояло участвовать в налаживании военной администрации, устраивать гетто и «гражданские лагеря», охотиться за функционерами, архивами и т. п. Задача же физической расправы над евреями фактически не была для них первостепенной, и часто палачами подготовленных зондеркоммандо жертв были не они, а АГ и АК (Gerlach 1999:540).

В самые первые дни войны не только евреи, но и любые другие советские военнопленные, в том числе и перебежчики, формально-юридически стали жертвами не столько «Приказа о комиссарах», сколько «Инструкции о поведении войск в России». Только в области группы армий «Центр» на территории Белоруссии известны случаи расстрела рядовыми и унтер-офицерами вермахта многих сотен военнопленных, не оказывавших им при этом ни малейшего сопротивления.

Но выморочное право на бесконтрольное и бессмысленное убийство было чревато потерей боевой дисциплины, и наиболее дальновидные старшие офицеры иногда приказывали их прекратить. Так поступил, например, 25 июня 1941 г. командир XLVII танкового корпуса генерал И. Лемельзен. Но при этом он оговорил, что его приказ не распространялся на две категории неприятеля – на партизан и на комиссаров (Ibid., 774–775). Поскольку никаких партизан 22–25 июня еще и в помине не было, то в качестве единственных «легитимных» жертв – причем с первого же дня и первого боя – фигурировали одни «комиссары». Последние же, напомним, пропагандистски ассоциировались и отождествлялись именно с евреями. Недаром в листовках Министерства пропаганды усиленно муссировался тезис, что в Красной Армии три политкомиссара из четырех – евреи (см., например: Шнеер II: 158, со ссылкой на Архив Яд Вашем, М.41/1011)!27

Так что идея официального распространения смертоносности «Приказа о комиссарах» на всех советских военнопленных еврейской национальности, как говорится, витала в воздухе. И уже в «Боевом приказе» руководителя РСХА Р. Гейдриха № 8 от 17 июля 1941 г. (см. ниже) невнятности или двусмысленности не оставалось места, здесь все это было прописано с подбавляющей четкостью.

Иными словами, – начиная по меньшей мере с 17 июля, – все пленные евреи-красноармейцы – неважно, комиссары они или нет – однозначно подлежали

ликвидации на месте. И, если, согласно приказу о комиссарах, АГ и АК также участвовали в процессе расправы над комиссарами, но только в тылу сухопутных войск (а стало быть, все-таки не сразу, а спустя определенное время после начала войны), то вермахт как таковой форсировал этот Рубикон, уже будучи запрограммированным на искоренение комиссаров-евреев и с индульгенцией за это убийство в кармане – в виде приказа «Барбаросса».

Из описанной административно-временной раскладки вытекают два принципиальных вывода.

Первыми по времени палачами военнослужащих-евреев в геноцидальной германо-советской войне стали военнослужащие вермахта.

Их первыми де-факто еврейскими жертвами в этой войне стали советские военнопленные-евреи, а их первыми жертвами де-юре – евреи-политработники.

До недавнего времени считалось, что ликвидация зазора между этим «де-юре» и «де-факто» состоялась только с отдачей Гейдрихом своего «Боевого приказа №

8» от 17 июля 1941 г. Этот приказ распространил смертельную опасность вообще на всех вызывающих подозрение лиц – как военнопленных, так и гражданских. При этом особенно важно, что именно в этом приказе евреи (любые евреи!) впервые названы по имени «как целевая группа», предназначенная для ликвидации.

Может показаться, что приказ Гейдриха целил прежде всего в гражданских лиц, но это не так: как бы во избежание этого впечатления одновременно с ним было издано три приложения (рус. пер.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 1-12).

Первое из них – это «Инструкция по фильтрации гражданских лиц и подозрительных военнопленных, захваченных в войне на Востоке, в лагерях для военнопленных на оккупированной территории, в зоне военных действий, в Генерал-Губернаторстве и в лагерях на территории Рейха». Всех собранных в «русских лагерях» надлежало рассортировать на пять групп и, соответственно, лагерных зон: 1) гражданские лица; 2) военнопленные (включая и тех, что переоделись в гражданскую одежду; по-европейски выглядящих пленных надлежало отделять от выглядящих по-азиатски); 3) политически неприемлемые лица из первых двух групп; 4) лица из первых двух, представляющиеся заслуживающими внимания и пригодные для использования при возрождении занятых территорий; 5) лица немецкой национальности из состава первых двух групп.

Кто же относился к «политически неприемлемым» из третьей группы? На кого охотились спецы из СД и завербованные ими стукачи из четвертой группы?

Ответ на эти вопросы содержит «Инструкция для команд, направляемых начальником зипо и СД в шталаги», она же приложение 2 к «Боевому приказу №

8»: «Прежде всего выявлению подлежат: все сколь либо значительные деятели партии и государства, в особенности профессиональные революционеры; деятели Коминтерна; сотрудники центральных, краевых и областных организаций коммунистической партии; все народные комиссары и их заместители; все бывшие политкомиссары Красной армии; руководители госучреждений верхнего и среднего звена; руководящие работники народного хозяйства; советско-русские интеллигенты;

все евреи (курсив наш. –

П.П.); все подстрекательски или фанатично настроенные коммунисты» (Jacobsen 1967:203; рус. пер.: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 8-11).

Итак, предпоследней категорией среди них значатся – «все евреи»! Но не менее выразительной является и следующая цитата из инструкции: «В конечном счете при принятии решений необходимо учитывать национальную принадлежность».

Эта инструкция была согласована РСХА и ОКБ буквально накануне, 16 июля 1941 г. Интересно, что среди материалов, подготовленных американской стороной к Нюрнбергскому процессу, но не опубликованных в его материалах, имеется и проект этой инструкции, датированный еще 28 июня 1941 г. (IfZ. Dok. PS-078. Bl. 1–3). Существенными отличиями окончательной редакции от проекта являются разве что отсутствие в проекте указания на

параллельную позитивную задачу по выявлению среди военнопленных еще и тех, кого можно было бы привлечь к решению административно-хозяйственных задач на оккупированных территориях СССР, а также части требований по характеру письменной отчетности<sup>28</sup>.

Третьим приложением был список из 14 офлагов и шталагов на территории I военного округа (Восточная Пруссия) и Генерал-Губернаторства. Относительно дулагов в оперативной зоне отмечалась подвижность их местоположения и рекомендовалось справляться о них в службе генерал-квартирмейстера (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 12).

Действенность самого «Боевого приказ № 8» первоначально была ограничена территорией оперативной зоны ОКХ, I Военного округа и Генерал-Губернаторства. «Боевой приказ № 9» от 21 июля 1941 г. распространил его положения на всю территорию самого Рейха (Jacobsen 1965: 205–207). Применительно к военнопленным и с учетом расплывчатости или недостижимости остальных категорий, приказы № 8 и № 9 являлись, по существу, окончательными смертными приговорами всему политсоставу Красной Армии<sup>29</sup> и всем военнослужащим-евреям, независимо от должности и военной специальности<sup>30</sup>.

Впоследствии слово «евреи» практически исчезло из лексикона нормативных актов о советских военнопленных<sup>31</sup>.

В соответствии с приказами, политруков и евреев уничтожали непосредственно на поле боя, причем независимо от военного звания: никакой регистрации при этом, естественно, не было. Но нередко смерть откладывалась и ожидала их несколько позже – после соблюдения ряда процедур, как то систематическая проверка (?berpr?fung) и даже дополнительное установление факта еврейства. В таких случаях отобранных евреев, как правило, изолировали в специально отгороженных отсеках лагерей, бараках или палатках.

Сведениями о какой бы то ни было именной регистрации военнопленных-евреев, ожидавших своей участи в дулагах, мы не располагаем, но в шталагах такая регистрация производилась (не говоря уже о случаях «разоблаченных» евреев). Судьба «отобранных» тем самым была уже предрешена – смерти они были обречены. Расстрелять их могли – в зависимости от обстоятельств – и через день-два, и через несколько месяцев. В случае такой отсрочки военнопленных-евреев, как правило, помечали: на гимнастерку или на шинель нашивались желтые шестиконечные звезды. Нередко их маркировали и по-другому, например, «звездами Давида», намалеванными масляной краской на гимнастерках, или белыми четырехугольными лоскутами<sup>32</sup>. Сама казнь происходила в таком случае несколько позже – в сборных или даже в стационарных лагерях (а если на территории Германии – то в концлагерях).

Теме обхождения с военнопленными-евреями было посвящено даже специальное заседание в июле<sup>33</sup> у начальника Управления ОКВ по делам военнопленных генералом Г. Рейнеке с участием начальника IV Управления РСХА (гестапо) обергруппенфюрера Мюллера, начальника управления лагерей для военнопленных ОКВ полковника Ганса-Иоахима Брейера (Breuer) и представителя абвера полковника Эриха Лахузена (Lahousen). От имени своего ведомства и своего шефа, адмирала Вильгельма Франца Канариса, Лахузен выразил несогласие с деморализующей практикой расстрела военнопленных на глазах у немецких войск; к тому же это было чревато лишними потерями немецких солдат, ибо отбивало у красноармейцев охоту сдаваться в плен; да и вербовка агентов в среде военнопленных была этим сильно затруднена. Рейнеке и Мюллер резко возражали Лахузену, но прилюдные казни распорядились прекратить<sup>34</sup>. Но, разумеется, не сами казни!

Несколько других попыток высокопоставленных военных отменить приказ о комиссарах в 1941 г. также не возымели эффекта (см., например: Antrag des OKH an das OKW v. 23.09.1941 auf ?berpr?fung der Notwendigkeit des Komissarbefehls, mit Ablehnung; факсимиле: Streim 1982: 226–228, Dok. II.2). Фактически он был все же отменен, но только в мае или июне 1942 г. и

только частично: разоблаченная принадлежность к политкадрам Красной Армии как таковая более не каралась смертью, а вот разоблаченное еврейство, как и прежде, – каралось<sup>35</sup>.

Тем самым была еще раз подчеркнута доминанта неприемлемости расового врага даже над таким фундаментальным признаком, как неприемлемость врага политического.

## Палачи

В боевой обстановке и непосредственно в момент пленения решения о расстреле на месте могли приниматься на самом низком уровне – для этого было достаточно офицерского приказа, причем без какого бы то ни было утруждения военно-судебных структур вермахта<sup>36</sup>.

Сама же установка в общих чертах была прописана в специальной «Инструкции для особых областей» от 13 марта 1941 г., являвшейся органической частью «Плана Барбаросса», а также в специальном соглашении между ОКХ, СС и РСХА<sup>37</sup> от 28 апреля 1941 г., регулировавшем взаимоотношения и взаимодействие сухопутных войск и войск СС (см.: Streit 1991: 32; Streim 1981:72–73).

В соответствии с этими директивами в мае 1941 г. в трех тишайших саксонских городках на Эльбе (Претш, Дюбен и Бад-Шмидеберг) были созданы, быть может, одни из самых страшных войсковых соединений в мировой военной истории –

айнзатцгруппы, или оперативные соединения, предназначенные для обеспечения активной карательной политики Третьего Рейха в войне с СССР (своего рода «эскадроны смерти»). Каждая АГ состояла из зондеркоммандо и айнзатцкоммандо: первые действовали в ближайшем тылу отдельных армий, а вторые – в более глубоком тылу сухопутных войск (Klein 1996:19). В задачи ЗК входило участие в налаживании военной администрации, устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за функционерами, архивами и т. п. Как таковая задача физической расправы над попавшими в их руки евреями фактически не была для них первостепенной, и часто палачами подготовленных ими жертв были не сами ЗК, а подоспевшие АК. Но иногда, как в случае расстрела евреев Кретинги 24 июня, именно они брались за эту «задачу», притом с подобающим энтузиазмом.

Задача эта была четко увязана со стратегическим построением сил вермахта. Так, группам армий «Север», «Центр» и «Юг» соответствовали оперативные группы «А», «С» (начиная с 11 июля переименованная в «В») и «В» (тогда же переименованная в «С»), а оперативному району 11-й армии, охватывавшему юг Украины и Северный Кавказ, была придана оперативная группа «Д». Численный состав отдельных АГ составлял от 500 до 800 чел., причем штаты этих формировались из сотрудников РСХА (крипо и зипо) и СД, а также из нескольких приданных каждой из них резервных батальонов полиции и батальонов СС.

14 июня 1941 г. генерал-квартирмейстер Вагнер определил Данциг, Позен и Катовице в качестве исходных рубежей АГ, куда они должны были прибыть не позднее 25 июня. К этому времени начальники тыловых зон сухопутных войск должны были бы сообщить им время и место их передислокации на территорию СССР (Ogorreck 1996: 46, со ссылками на: ВА-МА, RH 2/2082, B1.130–139). В действительности все произошло несколько иначе: в войска большинство АК прибыли самое раннее в последние дни июня, и хотя и приступили сразу же к исполнению своих палаческих «прямых обязанностей», но расстреливать систематически и массово начали только в июле-августе (Hilberg 1999: 307).

Именно им, этим «эскадронам смерти», предстояло героически бороться в тылу вермахта с тысячами и миллионами еврейских женщин, стариков и детей. Впрочем, не им одним: усилия

этих нескольких тысяч убийц-профессионалов не были бы столь эффективны, когда бы не опора на местных палачей-«любителей» из антисемитов – доносчиков и лагерных полицейских.

На своих штандартах айнзатцкоммандо вполне могли бы начертать и следующий шедевр геббельсовской пропаганды: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!»

Но на практике все-таки требовалась интерпретация этого двустипия, причем конкретизации подлежали оба элемента его изысканной рифмы. Во-первых, кто такой «жид-политрук»? Иными словами, какие категории лиц среди военнопленных следовало бы в процессе чисток выявлять? А во-вторых – «кирпич»: что же именно с «жидами» делать?

Впрочем, геноцидальное начало политики вермахта по отношению к советским военнопленным не ограничивалось отношением к евреям-военнопленным, а шло значительно дальше – на первом этапе боевых действий имея негласной целью косвенное уничтожение как можно большего числа советских военнопленных как контингента (инструментом такого уничтожения было нарочито пассивное отношение к причинам и факторам их колоссальной смертности осенью и зимой 1941 г. – голоду, холоду, эпидемиям, условиям транспортировки и содержания).

Исключение делалось для представителей расово близких или дружественных народов. Так, в самом начале войны имело место даже массовое

увольнение военнопленных из плена и перевод их в гражданский статус (Полян 2003:97–98).

Так, 25 июля 1941 г. был издан приказ генерал-квартирмейстера вермахта Вагнера об освобождении из плена представителей ряда «дружественных» национальностей, как то: немцев Поволжья, прибалтов, украинцев, а также белорусов (Гриф секретности 1993: 334, со ссылкой на: BA, RH-23/5-155, RH-53-23/65, R-41/168, H-3/729)38. Согласно распоряжению ОКВ от 14 октября 1941 г., военнопленные подвергались проверке и сортировке в случае их принадлежности к фольксдойче, украинцам, белорусам, грузинам или финнам (Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung der im Reich befindlichen Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen vom 19.6.1944; см.: Gatterbauer 1975:174, со ссылкой на: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien, Akt № 8394). В официальной статистике ОКХ освобожденных из плена фигурировали литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, румыны, финны, фольксдойче, белорусы, «кавказцы» и «туркестанцы» (см.: BA-MA, RH 3/V.180).

В середине ноября 1941 г. имела хождение немецкая листовка, на одной стороне которой были изображены военнопленные, радующиеся своему освобождению из плена, и следующий текст: «Вот это правда! Военнопленные уже освобождаются и идут по домам. Чего ж долго думать? Перебегайте к нам! Вы тоже скоро будете дома!», а на другой – образец выдававшегося дулагом «Удостоверения об освобождении» (Entlassungsausweis). В «Удостоверении», которое полагалось постоянно носить при себе и предъявлять по первому требованию любого военнослужащего вермахта, были сформулированы условия, на которых военнопленный отпускался из плена: никаких враждебных действий против немецкого народа (читай: вермахта), его союзников и дружественных народов; до дома добираться – кратчайшим путем и в течение 8 дней зарегистрироваться в ближайшей немецкой комендатуре; смену местожительства осуществлять только с разрешения немецких властей; в случае, если освобождение из плена состоялось как раз по местожительству военнопленного, то при регистрации надлежит сдать всю имеющуюся красноармейскую экипировку (Kirschner 1987: 160). Часть из них, похоже, позднее были завербованы на работы в Рейх как гражданские лица: тех же, кто «не оправдал доверия» и бежал с места работ или уходил к партизанам, жестоко наказывали39.

Действие приказа от 25 июля было приостановлено 13 ноября 1941 г.40 – по крайней мере, применительно к украинцам и белорусам (Pfahmann 1968: 58). Тем не менее освобождение

из плена – и по несколько тысяч человек в месяц – продолжалось и в 1942 г., и его действием суммарно было затронуто 318,8 тыс. чел. (см.: Гриф секретности 1993:334, со ссылкой на: ВА, RH-23/5-155, RH-53-23/65, R-41/168, H-3/729)41.

Нередко привилегия быть освобожденным из плена оплачивалась ценой предательства и выдачи немцам евреев и комиссаров42. Кстати, среди сумевших примазаться к привилегированным национальностям и получить таким образом освобождение были, разумеется, и... евреи. Так, Абрам Резниченко (он же Аркадий Резенко) из Хорольского лагеря, узнав, что из села Лохвицы в лагерь приехал староста забирать «своих», – рискнул и выдал себя за «лохвицкого»: «Мне повезло: староста „узнал“ меня, своего „земляка“...» (Резниченко 1993: 393).

В контексте полиэтничности СССР и как бы на полях затронутой проблемы советских военнопленных-евреев следует сделать одну важную оговорку. Нередко за евреев по ошибке признавали, – а стало быть, и расстреливали – представителей и других народов, – особенно часто татар (в том числе крымских татар43), армян44 и грузин. О расстреле лейтенанта Хонелидзе, черноволосого и длинноносого грузина, принятого за еврея, писал Илье Эренбургу Семен Гриншпун (Гриншпун 1993:128–130). И даже сына Сталина Якова Джугашвили, приняв поначалу за еврея, при пленении едва не расстреляли. Иногда расстреливали и русских, не обязательно даже чернявых, а просто – с «заметной внешностью»45.

В группу риска входили и военнопленные красноармейцы из немцев Поволжья: их нередко подвергали особенно тщательным личной проверке и медосмотру, поскольку их фамилии были слишком похожи на еврейские, и немцы опасались, что перед ними не фольксдойче, а выдающие себя за них евреи (см.: Шульга 1998: 325, со ссылками на: Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210 [Фильтрационный фонд]. Оп. 1. Д. 18167. Л. 4–5).

Зато те из фольксдойче, кто прошел эту проверку, имели неплохие шансы на то, чтобы не просто покинуть дулаг или шталаг, а еще и преобразиться, а точнее сказать, обернуться – из жертвы в палача. Их, в частности, заставляли подписывать следующее: «Я, (фамилия, имя и отчество) являюсь немцем, обязываюсь выявлять среди русских военнопленных коммунистов, командиров и комиссаров Красной Армии, а также лиц, занимающихся антифашистской агитацией и имеющих намерение бежать» (Там же, 331, Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210. Оп. 1. Д. 10302. Л. 4, 9). Многие гражданские фольксдойче, равно как украинцы, прибалты и русские, лично участвовали в идентификации и расстрелах гражданского еврейского населения46.

## Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР

Число советских евреев в немецком плену, по оценке Ш. Краковского, составляло около 85 тыс. чел. (Krakowski 1992:229; см. также: Encyclopedia of Holocaust 1990:1181). Практически ту же цифру – 80–85 тыс. – вслед за ним называет И. Арад (Arad 1993:125). При этом исследователи отталкивались от 1,8-процентной доли евреев в населении СССР, что если и искажает данный расчет, то в сторону завышения.

Самым высокопоставленным среди них, возможно, являлся генерал-майор интендантской службы Григорий Моисеевич Зусманович, раненный и взятый немцами в плен 24 мая 1942 г. под Харьковом47.

Всего же, по имеющимся оценкам, гитлеровцы уничтожили от 55 тыс. (И. Арад) до 80 тыс. (А.



Шнеер) советских евреев-военнопленных (Альтман 2002: 31)<sup>48</sup>. Вторая оценка, соответствующая 94-процентной смертности евреев в немецком плену, представляется нам более реалистичной. Во-первых, в пользу оценки

А. Шнеера четко свидетельствует количество евреев-военнопленных среди репатриированных в СССР (около 5 тыс. чел.). Во-вторых, оценка А. Арада приводит нас к общей смертности «всего лишь» в 65 %, что сравнительно ненамного выше общей смертности среди советских военнопленных в целом, составившей, по оценке К. Штрайта, около 57 %. В последнее время И. Арад пересмотрел свою оценку и поднял ее до 70 тыс. чел.<sup>49</sup>

Если же придерживаться оценки А. Шнеера и если вспомнить, что во время войны погибло порядка 200 тыс. евреев-красноармейцев, то доля погибших в плену среди них составила 40 %.

В литературе встречаются и некоторые частичные оценки смертности среди военнопленных-евреев. Так, по состоянию на 21 декабря 1941 г., согласно отчету шефа гестапо Мюллера, было выявлено около 22 тыс. неблагонадежных советских военнопленных, из них 16 тыс. уничтожено: «квота» евреев среди уничтоженных была, предположительно, не ниже 90 %, так что порядка 14–15 тыс. еврейских военнопленных было ликвидировано только за это время и, судя по полномочиям Мюллера, только в зоне ответственности ОКВ (Hilberg 1999:357). К середине 1942 г. число неблагонадежных советских военнопленных, выявленных на той же территории и переданных СС, достигло, по оценке Р. Отто, не менее 40 тыс. чел. (Otto 2002:133). Квота евреев среди них не могла не понизиться (среди выявленных было немало саботажников, беглецов и т. д.), да и среди отправленных в концлагеря погибали, разумеется, не все, – тем не менее суммарная оценка числа евреев среди них по меньшей мере в 25 тыс. чел. представлялась бы вполне реалистичной. В таком случае на зону ответственности ОКХ приходится около 55 тыс. убитых советских евреев-военнопленных.

Их селекции и расстрелы начались, как мы уже отмечали, буквально на следующий день после нападения на СССР. Свидетельства при этом оставили как немецкие палачи, так и нееврейские очевидцы, а также сами чудом уцелевшие жертвы. Но самый охват свидетельствами реального пространства геноцида евреев-военнопленных выборочен и случаен. К тому же следует помнить, что в каждом отдельном случае количественные параметры могут рассматриваться скорее как преувеличенные, чем как адекватные, поскольку базируются, как правило, не на подсчетах, а на эмоциональных и, следовательно, преувеличивающих впечатлениях или прикидках. Если же просуммировать фигурирующие в них цифры жертв, то мы получим цифру чуть ли не в 50–55 тыс. чел., что равняется максимально возможной оценке и поэтому малореалистично.

Тем не менее приведем все собранные нами свидетельства.

Сразу несколько лагерей для военнопленных находилось в районе Слуцка. Все выявленные в них евреи – оценочно 1,5–2 тыс. человек – были расстреляны в них уже в июне-июле 1941 г. (Свердлов 1996: 20, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й армии. Оп. 8423. Д. 84. Л. 141). Только в районе Бреста (в лагере на левом берегу Буга) в июле было расстреляно около 2 тыс. чел. (Там же, 12, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 22). Девять евреев-военнопленных были расстреляны в середине августа в лагере в Бердичеве<sup>50</sup>.

Летом 1941 г. в 1600-метровом противотанковом рву недалеко от д. Тонкеля было расстреляно не менее 5 тыс. советских военнопленных-евреев из шталага 316 в Сухожембрах, что в 10 км от г. Седлец. Расстрелы производились, согласно свидетельским показаниям, тотчас же после селекции (выявления) отдельных евреев из общей массы военнопленных. Их привозили сюда на грузовиках (по 50–60 чел. на каждом), выгружали в 150–200 метрах от места казни, подводили ко рву, раздевали (правда, не всегда) и расстреливали. Расстрелы в

этом же месте продолжались и осенью: только за три дня с 12 по 14 ноября 1941 г., по слухам, было расстреляно около 30 тыс. чел. (Там же, 12–16, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 13,16,20,26,34–35)51.

В августе 1941 г. в 5 км от железнодорожной станции Августов в окрестностях г. Сувалки был оборудован лагерь уничтожения евреев: здесь было расстреляно около 8 тыс. человек – как местных евреев, так и свезенных сюда из других мест. Среди них, по свидетельствам местных жителей, было немало и евреев-военнопленных (Свердлов 1996:8–9,33, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 183. Л. 36; Ф. 31-й армии. Оп. 8599. Д. 218. Л. 60–61).

Что-то подобное, вероятно, наблюдалось и среди самих шталагов. Некоторые из них, по-видимому, занимались уничтожением не только «своих» военнопленных-евреев, но и обслуживали в этом отношении другие лагеря. На эту мысль наводит датированное 19 октября 1941 г. свидетельство немецкого солдата о ежедневных расстрелах от 300 до 400 таких военнопленных в шталаге 319 Хелм и отделении этого шталага во Влодаве (Ploski 1946: 266)52. По сообщению Э.Н. Сосина, евреев-военнопленных со всего Западного фронта сгоняли в лагерь Форт VI в Ковно (Каунасе)53 (личное сообщение, 2004).

В августе 1941 г. под Херсоном был разбит огороженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных. В первые же дни его существования в нем было выявлено и поблизости расстреляно до 500 евреев (в дальнейшем, по мере довыявления, евреев расстреливали небольшими партиями или даже поодиночке) (Свердлов 1996: 60, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й армии. Оп. 8523. Д. 84. Л. 44–45).

Об аналогичной роли дулага Хорол (речь идет об осени 1941 г.) пишет Абрам Резниченко: «Часто в Хорольский лагерь приводили партии евреев. Их приводили под усиленным конвоем, на руках и на спинах у них были нашиты опознавательные знаки – шестиконечные звезды. Евреев гнали по всему лагерю, посылали на самые унижительные работы, а к концу дня, на глазах у всех, – уничтожали» (Резниченко 1993: 393).

Весьма внушительно и число евреев-военнопленных, расстрелянных в балке возле Кривого Рога с помощью украинской вспомогательной полиции, – около 800 человек54, по состоянию на 15 октября 1941 г., когда город был объявлен «юденфрай» (Verbrechen der Wehrmacht, со ссылкой на: Lagerbericht der Orts-kommandatur I/253(V) in Kriwoj Rog v.15.10.1941: ZStdIV, Dokumentation, UdSSR III, Bl. 779–789). По дороге на казнь они были сфотографированы, и эти снимки сохранились (Verbrechen der Wehrmacht. Со ссылкой на: Landesarchiv Schleswig-Holstein, Kiel. Abt. 352. № 2477).

Около 160 евреев-военнопленных было расстреляно в ноябре 1941 г. в одном из отделений шталага 305 в Кировограде, расположенном в г. Адабаш, что приблизительно в 50 км от Кировограда. Еще 350 военнопленных было расстреляно там же в другой раз. Исполнителями преступления были военнослужащие 2-й роты 783-го батальона полиции правопорядка (Landeschutz), причем легкораненых пристреливал самолично лагерный врач д-р Кудерна (Kuderna)55. О том, что происходило в конце августа 1941 г. в самом лагере в Кировограде, свидетельствует красноармеец М.Ф. Нефедов (Свердлов 1996: 58, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 73).

В шталаге Борисов, что под Киевом, 14 октября 1941 г. расстреляли 752 евреев-военнопленных, в том числе нескольких комиссаров и 78 раненых евреев, переданных для расстрела лагерным врачом (Krakowski 1992: 227, со ссылкой на оперативный отчет № 132 АК 4а от 12 ноября 1941 г.)56.

Сотни тысяч советских военнопленных были согнаны в лагеря на территории Польши, – соответственно, и экзекуции евреев-военнопленных нередко происходили на польской территории. Так, М. Бартничак пишет, в частности, о пытках и массовых расстрелах в

шталагах 324 и 333 в Коморове и Оструве-Мазовецком (Bartniczak 1978: 66–67, 85). О советских военнопленных-евреях в лагерях на территории Польши немало пишет и Ш. Датнер (Датнер 1964).

То же самое происходило, кстати, не только в Польше, на Украине и в Белоруссии, но и на территории РСФСР, причем подробные и достоверные сведения о злодеяниях фашистов, благодаря зимнему контрнаступлению под Москвой 1941/42 г., стали достоянием военного командования уже в этот период. В политдонесениях армий содержатся сведения о расстрелах осенью 1941 г. военнопленных-евреев в лагерях для военнопленных – близ г. Щекино Тульской области (около 25 чел.) (Свердлов 1996:79, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 38)57 и в лагере близ Оленино Калининской области (около 40 чел.) (Свердлов 1996: 77, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 39-й армии. Оп. 9087. Д. 138. Л. 3). О селекциях в шталагах Рославля и Вязьмы пишут В. Голубков (Голубков 1958) и С. Анваер (Анваер 2005).

Та же практика, что и в 1941 г., продолжалась в 1942–1943 гг. Оккупировав часть Северного Кавказа, немцы и там организовали сеть лагерей для советских военнопленных. Так, сборный лагерь в станице Курской Ставропольского края располагался во дворе исполкома райсовета и был обнесен колючей проволокой, у ворот – усиленная охрана. День и ночь и в любую погоду пленных держали под открытым небом и практически не кормя. Местным же жителям запрещали даже поить пленных: любая попытка сердобольности штрафовалась побоями. Далее – цитата: «20 августа 1942 г. немецкие изверги отобрали в лагере 6 человек военнопленных, вывели их на середину двора лагеря, раздели и разули, после чего начали над ними издеваться. Сначала некоторых из них брали за уши и тянули со всей силой, заставляя их следовать за ними, затем всех их били палкой по голове и по другим частям тела, после чего замученных этих 6 человек военнопленных вывели за станицу и расстреляли» (акт ЧГК о злодеяниях оккупантов в Курском районе Ставропольского края от 19 июля 1943 г.: ГАСК. Ф. Р-1368. Оп. 1. Д. 89. Л. 2–2 об.). Совершенно очевидно, что в данном случае описана процедура «селекции» из солдатской массы и «эзекуции» военнопленных евреев и комиссаров.

В середине января 1943 г. (т. е. за несколько дней до освобождения) в лагере 205 близ с. Алексеевка была произведена «селекция», и 60 пленных-евреев были тотчас убиты, причем их не расстреляли, а подвергли пыткам (вспарывали животы, отрубали конечности, проламывали черепа) и закололи штыками. За время существования этого лагеря с сентября 1942 по январь 1943 г. в этом лагере, через который прошло до 10 тыс. чел., было убито не менее 400 евреев (Свердлов 1996:80–81, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 68-й армии. Оп. 3064. Д. 105. Л. 42).

Подавляющее большинство евреев, уничтоженных в левобережной части Киевской области, – 3300 из 4000 – составили военнопленные (Альтман 2002:301). В 1943 г., при освобождении с. Злотовка в Киевской области были обнаружены обезображенные трупы военнопленных евреев с отрезанными языками, проломанными черепами, следами ожогов и других пыток (Свердлов 1996:48,58).

Наглядное представление о том, как в лагерях происходила первичная селекция, дают собранные в настоящей книге воспоминания бывших советских военнопленных – как русских, так и евреев.

Разумеется, сохранились свидетельства и самих еврейских военнопленных. Приведем один пример из не включенных в книгу воспоминаний медсестры-еврейки Софьи Иосифовны Анваер. Вот что происходило в сборном лагере для военнопленных в Вязьме, куда она попала осенью 1941 г.: «...Был конец ноября. Стояло хмурое утро. Внезапно во дворе раздалась нарастающая стрельба, усилилась хрипкая брань, крики. На этаже появились солдаты и эсэсовцы. Угрожая автоматами, они стали выгонять полуживых пленных во двор.

Тех, кто не мог подняться, пристреливали. На лестнице образовалась страшная давка. Передние не успевали выходить, а на задних напирали немцы с криком и стрельбой. Между верхними и нижними этажами было широкое окно. Через него мне и удалось увидеть, что происходило во дворе. Шел еврейский погром. Эсэсовцы отбирали евреев и отгоняли их вправо. Более месяца, проведенного в этом лагере, сделали мне смерть милее жизни. Не раз уже я сама лезла под пули, но когда я увидела, как они убивают евреев, как над ними издеваются эсэсовцы с помощью собак (описывать это я не в состоянии), и представила, что же они могут сделать с женщиной, то постаралась задержаться на лестнице, пусть пристрелят здесь. Задержаться не удалось, поток людей вынес меня на крыльцо. Тут же ко мне подлетел высокий эсэсовский офицер:

– Жидовка?

– Нет, грузинка.

– Фамилия?

– Анджапаридзе.

– Где родилась?

– В Тбилиси.

Последовало еще несколько вопросов... Ударом руки офицер толкнул меня не направо, куда я боялась даже взглянуть, не влево, куда отгоняли всех, а прямо вперед. Поднявшись на ноги, я обнаружила еще двух женщин-военнопленных. „Селекция“ продолжалась, нас – женщин постепенно стало шестеро. Стояли, тесно прижавшись друг к другу. Что говорить, было страшно. Страшно смотреть на то, что творилось кругом. Страшно думать о том, что могут сделать с нами. Когда „селекция“ окончилась, военнопленных загнали обратно в здание, эсэсовцы и солдаты ушли, во дворе остались только трупы и мы шестеро посередине пустого пространства в полной неизвестности...» (Анваер 2005:20–21).

Так же, как и С. Анваер, под Вязьмой попал в плен и батальонный комиссар М. Шейнман (12 октября 1941 г.). Судьба провела его через лагеря в Вязьме (до 12 февраля 1942 г.), Молодечно (до июня 1942 г.), Кальварии в Литве (до декабря 1943 г.), Ченстохове (до августа 1944 г.) и Везуве (близ Эппенана-Эмсе в Германии). Он сообщает, что под Вязьмой немцы бросали живых военнопленных-евреев в колодцы (Шейнман 1993:465).

Прежде чем лишить евреев-военнопленных жизни, садисты и палачи из вермахта, СС или лагерных полицейских, с их воспаленным воображением и звериными инстинктами, подвергали несчастных разнообразным мучениям, на изобретение которых – в ситуации полной безнаказанности – они были великие мастера. Одним из любимых издевательств было принуждение евреев бегать, возить друг друга на плечах, петить или танцевать – все до физического изнеможения. Их впрягали в повозки, заставляли убирать нечистоты голыми руками.

В дулаге 160 в Хороле, где комендантом был подполковник д-р Леппле (Lepple), а врачом д-р Трюхте (Trueschte), пленных сортировали на русских, украинцев, евреев и монголов (азиатов); евреев помечали шестиугольными звездами, заставляли руками собирать нечистоты в бочки, били до изуродования; зондеркомmando прибыли в лагерь только в начале марта 1942 г. – перед отправкой на экзекуцию пленных евреев раздевали до кальсон<sup>58</sup>. Известны и жуткие случаи натравливания на евреев собак<sup>59</sup>, в том числе и во время селекции перед строем военнопленных со спущенными штанами (Бондарец 1960)<sup>60</sup>.

Кстати, поначалу большое значение придавалось нарочитой публичности поиска и идентификации евреев, а также издевательств над ними перед казнью, как, впрочем, и самой

казни. При этом преследовалась многосторонняя цель устрашения и морального разложения вчерашних красноармейцев, склонения их к аморальному сотрудничеству – предательству и выдаче (нередко и оговору) своих товарищей. Немцы словно бы говорили остальным: вот так мы поступаем с евреями и комиссарами – нашими заклятыми врагами, но только с ними: зато остальным нас нечего бояться!<sup>61</sup>

Не менее деморализующее воздействие оказывали эти сцены и на самих немецких военнослужащих, и с начала осени экзекуции перестали быть, по крайней мере, публичными.

... Впрочем, кроме смерти в лагере, известны и другие траектории судьбы советского военнопленного-еврея на оккупированной земле. В конце каждой из них маячило, в сущности, то же самое – смерть.

Иногда евреев-военнопленных, прежде чем расстрелять, помещали не в лагеря, а в тюрьмы гестапо, о чем, в частности, свидетельствует «граффити» в камере Харьковской тюрьмы: «Здесь сидели 2 еврея, Фуксман Саша и Зимин Михаил с 26.7.43. Расстрел произошел 13.08.43. Дрались мужественно. По-гвардейски. Верные сыны народа и погибли как следует гвардейцам» (Альтман 2002: 302, с ссылкой на: Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Ф. 2. Оп. 23. Д. 525. Л. 25).

Кстати, жизнь военнопленного-еврея могла несколько продлить его дефицитная профессия, в особенности профессия врача. Так, бывший завполикликой из г. Шахты Копылович работал в госпитале лагеря в Молодечно, а доктор Фельдман из Могилевского областного управления здравоохранения – в лагере в Минске. В Молодечно и Кальварии работали также врачи Беленький, Гордон и Круг из Москвы, Клейнер из Калуги и др. Но в декабре

1941 г. евреям-врачам запретили работать в лагерях для советских военнопленных: так, в лагере в Вязьме в конце 1941 г. селекция производилась и в госпитале, причем не только среди больных, но и среди медицинского персонала. Забрали, в частности, доктора С. Лабковского, у которого были ампутированы обе ноги. То же происходило и в лагере Богунья под Житомиром. Селекцией – как в лазаретах, так и в общих лагерях – занимались «комиссии» в составе коменданта лагеря, фельдфебеля и врача<sup>62</sup>.

Обработка данных об умерших советских офицерах-военнопленных из трофейной картотеки в ЦАМО показала, что более трети из них – военные врачи, ветеринары или фельдшеры, немногим меньше техников-интендантов и инженеров, строевых же офицеров – около 20 %. Разброс по возрасту (на 1941 г.) – от 21 года до 50 лет. Около 2/3 – уроженцы Украины, остальные родом из России и Прибалтики. Почти 80 % попали в плен на Украине и в 1941 г., из них в одном только сентябре – 60 %!<sup>63</sup> 10 чел. попали в плен в 1942 г., а самым «поздним» по времени пленения оказался капитан Б.Г. Зарин, захваченный 25 сентября 1944 г. и выведенный из состояния плена 11 ноября того же года (для отправки в концлагерь, надо полагать).

Около 2/3 из них простились с жизнью в дулагах или шталагах на оккупированной территории, остальные – в шталагах и концлагерях в Германии. Несколько лагерей встречаются особенно часто – это шталаги 346 (Кременчуг) и 334 (Белая Церковь), концлагерь Заксенхаузен и шталаг IIIВ Фюрстенберг. Лишь в 10 % случаев военнопленные умерли своей смертью, например, от бомбежки или в больнице. Во всех остальных случаях они были переданы дальше для ликвидации – либо СД (если дело происходило в оперативной зоне на оккупированной территории СССР), либо гестапо и СС (в зоне ответственности ОКВ) или же застрелены при попытке к бегству. Некоторое удивление вызывает единовременность передачи значительной части военнопленных-евреев в руки СД: в 22 случаях это произошло 2 марта 1942 г. (причем в 5–6 лагерях!), в 8 случаях – 9 сентября, а еще в нескольких случаях – 18 июня и 31 октября того же года. Карточки 10 военнопленных однозначно запечатлели следы селекции или доноса: названная ими самими и принятая немцами к сведению

национальность – украинец, русский, белорус или азербайджанец – исправлена на них красным карандашом на «еврей». На удивление много карточек (более половины), где в графе «Национальность» «еврей» стоит с самого начала. Однако самой продолжительной (более 3 лет) жизнью в плену отмечен лейтенант и автомеханик Иосиф Базаненко, назвавшийся русским: взятый в плен 22 сентября 1941 г. под Оршицей и угнанный в шталаг XIII D в Нюрнберге, он был убит при авианалете 19 октября 1944 г.

## Селекция и ликвидация на территории Германии

Еще в июле 1941 г. большие массы советских военнопленных стали прибывать непосредственно в Рейх, возможность чего в приказе № 8 допускалась не более чем теоретически. Это отставание от жизни было быстро исправлено в «Боевом приказе № 9» от 21 июля 1941 г.

Немаловажные уточнения содержал и указ Гейдриха от 12 сентября 1941 г., выправлявший, по всей видимости, массовые «перегибы» при исполнении приказа № 8. Сделанные в нем уточнения понятия «русско-советская интеллигенция» вывели из-под смертельной угрозы по крайней мере интеллигенцию техническую и прекратили расстрелы татар и представителей других «азиатских» (читай: мусульманских) народов, осуществлявшиеся исключительно по той причине, что и у них, как и у евреев, практиковалось обрезание (Streim 1981:71–72).

Если летом 1942 г., в отличие от лета 1941 г., советские военнопленные как рабочая сила уже представляли для Германии определенный экономический интерес и отношение к их «сохранности» в целом улучшилось, то отношение к военнопленным-евреям изменений не претерпело: все они по-прежнему подлежали уничтожению, независимо от места пленения или нахождения – на фронте или в Германии.

Непосредственно в Германии, а точнее, в зоне ответственности ОКБ как

селекцию, так и

ликвидацию военнопленных должна была осуществлять не лагерная администрация, а направляемые в каждый лагерь или иное место скопления неблагонадежного элемента «особые комиссии» РСХА и СД («Sonderkommissionen»). Составленные ими отчеты с указанием количества отобранных ими неблагонадежных лиц (очень часто даже без персонализирующего списка) подлежали еще формальному согласованию с руководством РСХА.

Только после этого можно было приступить непосредственно к ликвидации (или, по-немецки, экзекуции), но ни в коем случае не в самом лагере и не в непосредственной близости от него. В случае же невозможности обеспечить скрытность (а это было совсем не просто в самой Германии, например) обреченных смертников надлежало направлять в ближайшие концлагеря.

27 октября 1941 г., в развитие приказа № 8, Гейдрих выпустил «Боевой приказ № 14», наделявший офицеров «оперативных команд» в лагерях для военнопленных полномочиями по принятию решений и об их экзекуциях, что существенно упрощало всю процедуру (Dok. N0-3422; см.: Streim 1981:72)64.

В начале октября 1941 г. Министерство по делам восточных территорий направило во все крупные дулаги и шталаги около 40 «Комиссий по проверке военнопленных», не только

соучаствовавших в поиске среди них евреев и других потенциальных врагов, но и наделенных правом отпускать из плена украинцев и представителей некоторых других национальностей. Опасаясь наивности немецких солдат и офицеров, искренне полагавших, что необрезанных евреев не бывает, министерство разоблачило и эту «жидобольшевицкую» уловку: 10 октября оно разослало информацию о том, что начиная с 1920–1921 гг. рождения среди советских евреев запросто могут оказаться и необрезанные<sup>65</sup>.

Генерал-лейтенант Шеммель (Schemmel), бывший в 1941–1942 гг. командиром военнопленных в XIII военном округе, показал на допросе, что из примерно 40 тыс. советских военнопленных, дислоцировавшихся в его округе, селекции и экзекуции подверглось не менее 2 тыс., или порядка 5 % (см.: Jacobsen 1967:226). Оберштурмфюрер СС Пауль Олер (Ohler), инспектор гестапо в Нюрнберге и начальник айнзатцкоммандо в офлаге Хаммельбург, показал, что из его лагеря в Дахау было отправлено на казнь не менее 500 советских военнопленных-офицеров (Ibid., 228).

Тем не менее многие еврей-военнопленные де-факто просачивались в зону ответственности ОКВ или в саму Германию и были все же «выведены на чистую воду» – теми самыми особыми комиссиями – в лагерях уже непосредственно в Рейхе. Следы этих разоблачений содержит в себе и трофейная картотека ЦАМО. В ней можно встретить евреев, выявленных в шталагах III В, IV Н, X D, XIIID и XVII А. Присовокупим сюда еще и два восточнопрусских – № 336 (Инстербург) и 373 (Просткен) – и один польский – № 359 (Сандомир).

Что касается непосредственно смерти, то один из военнопленных-евреев погиб при бомбежке и похоронен на кладбище в Витцендорфе, а двое – лейтенанты Лев Курлов и Михаил Тарлов – застрелены 27 апреля 1942 г. при попытке к бегству из концлагеря «для неисправимых» – Маутхаузена<sup>66</sup>. Сразу 6 чел. были переданы в Заксенхаузен: 1 чел. – 17 октября 1942 г., 2 чел. – 12 января 1943 г., 1 чел. – 22 марта 1943 г. и 2 чел. – 3 февраля 1944 г. Остальные были переданы еще на востоке в руки СД, причем значительное количество – 9 чел. – в один и тот же день (2 марта 1942 г., в основном из шталагов 346 и 334).

Свидетельства военнопленных о том, как происходила селекция евреев на территории Германии, практически не дошли до нас. Тем ценнее эпизод из воспоминаний Б.Н. Соколова о селекции в 326-м шталаге в рурском городке Хемер (Соколов 2000:144–148; см. в настоящем издании). Примечательно, что эта жуткая сцена происходила не в 1941 и даже не в 1942 или 1943 г., а в 1944-м. «Боевой приказ» Гейдриха нисколько не утратил своей значимости и свежести.

## Спасшиеся и спасители

Тем не менее части евреев удалось скрыть свою подлинную национальность и свое подлинное имя, если им и дальше везло, то и уцелеть, даже на территории врага. Ведь только по официальным данным Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР, среди репатриированных после войны граждан СССР насчитывалось 11 428 евреев, из них 6666 гражданских лиц и 4762 военнопленных (в том числе даже среди контингента «власовцы» – более сотни человек!) (Полян 1996: 298 и 312). Учитывая и тех, кто и при репатриации на всякий случай не выдал своего еврейства, общее число евреев среди репатриированных могло составить приблизительно 15 тыс. чел., причем пропорция могла измениться только в пользу оstarбайтеров, поскольку военнопленных фильтровали неизмеримо тщательнее, чем гражданских лиц.

Жизнь с измененной идентичностью, постоянный страх разоблачения или предательства – все это накладывало неизгладимую печать на обстоятельства их выживания или спасения.

Но при этом особенно тяжело уцелеть было именно военнопленным, среди которых велась целенаправленная и смертоносная селекция, тогда как у гражданских лиц ее не было.

И.М. Бружеставицкий написал об этом так: «Я страдал, как и все мои товарищи, попавшие в плен. Но к этому добавлялся страх разоблачения, что я еврей и политраблотник. Таких расстреливали немедленно...» (см. в настоящем издании).

Как это ни поразительно, но отдельные евреи, стремясь уцелеть, шли даже на... военную службу в Рейхе! Так, в списке спецконтингента, направляемого в спецлагерь НКВД СССР в Фюрстенвальде, встречаем имя Михаила Израилевича Фрейдина, 1916 г. р., уроженца г. Глухова и жителя г. Конотопа, служившего, как утверждает, в вермахте рядовым!<sup>67</sup>

Главным способом выявления евреев было их

предательство «своими». Немцев провести было бы гораздо проще, если бы не доброхоты из числа «своих». Как образно выразился по этому поводу бывший военнопленный Семен Орштейн: «Свой не продаст, – чужой не купит...» (из видеointервью, данного Фонду С. Спилберга 18 ноября 1997 г.).

За «разоблаченного» жида или политраблотника в дулагах и шталагах награждали – хлебом, папиросами, а то и одеждой расстрелянного. Предателями, несомненно, двигали и менее материальные мотивы, в частности, закоренелый бытовой антисемитизм или своеобразное самовыдвижение в лагерной иерархии. Случаи же самосуда над такими предателями со стороны остальных военнопленных, о которых пишет И. Альтман (2002: 302), представляются крайне рискованными и поэтому маловероятными – и уж во всяком случае редкими.

Другими способами селекции были медосмотр и проверка в строю или в бараке. Проверяли при этом не только на обрезание, но и на особенности речи (картавость).

Для того чтобы попробовать спастись, евреям приходилось применять те или иные познания этнолингвистического или медицинского свойства, как, например, бытование обрезания не только у евреев, но и у мусульман, существование заболеваний, требующих обрезания по чисто медицинским соображениям<sup>68</sup>, и т. п.

Как показывает анализ, подавляющее большинство самым радикальным образом меняло и имя, и отчество, и фамилию, а многие и всю легенду, включая место рождения и т. д. (есть случаи поэтапной или просто двукратной замены элементов имени). Видимо, из боязни проговориться некоторые старались сохранить при этом свое настоящее имя, если только оно само по себе не составляло угрозу. Гораздо реже встречаются случаи, когда замене подверглось одно только имя, одно только отчество или одна только фамилия (см. Приложение 1).

Так, Давид Исаакович Додин (род. 9 мая 1922 г. в д. Верещаки Горкинского р-на Могилевской обл.), рядовой, попавший в плен 27 июля 1941 г., прорывался из окружения на Минск. Не меняя имени, он успешно выдавал себя за белоруса, изменив только отчество (на «Иванович»). Его внешность и его владение белорусским языком не вызывали ни малейшего подозрения (из видеointервью Фонду С. Спилберга от 4 мая 1998 г.)<sup>69</sup>. Перемены отчества – с Ильича на Иванович – хватило и Б.И. Беликову.

Определенную роль играл и фактор фонетического созвучия старого и нового имени. Вот как объяснил это Лев Яковлевич Простерман: «Все документы я уничтожил, характерных внешних признаков у меня не было, и я записался как русский, Просторов Алексей. „Просторов“ потому, что это было созвучно с „Простерманом“... Алексеем я стал потому, что хотел сохранить фотографии любимой, которые были подписаны мне, как „Лесе“. Так меня звали в детстве...» (из письма автору от 13 июня 2003 г.).



Некоторые сознательно брали себе идентичность знакомых им лично лиц: например, Софья Анваер стала Софьей Анджапаридзе потому, что в ее классе был такой одноклассник, и т. п. (Анваер 2005:19–21).

Но в любом случае важно было как можно лучше ориентироваться в обстоятельствах своей новой идентичности.

Среди этносов, за представителей которых они себя выдавали, чаще всего фигурировали славяне – украинцы и русские (реже белорусы) (см. Приложение I)<sup>70</sup>. На втором месте – турки-мусульмане: татары, узбеки<sup>71</sup> и азербайджанцы, а на третьем – армяне, грузины и даже аджарцы. Иногда выдавали себя за французов, за немцев-фольксдойче, совсем редко – за караимов, но последнее почти не помогало (Шнеер II: 172–181).

Командир взвода лейтенант Сергей О., по свидетельству М.Б. Черненко, попал в плен в 1942 г. после неудачного наступления на Южном фронте. Пожилой солдат-татарин указал ему на общность важного мусульманского и иудейского обрядов и присоветовал сказаться татаринном из соседнего с собой села. Что Сергей О. и сделал (заодно подучив татарские слова) (Черненко 1997:22).

Военный фельдшер М.И. Меламед попал в плен в сентябре 1941 г. под Киевом и – при помощи коллеги (бывшего начальника Санитарной службы 37-й армии Т.Н. Чурбакова) – сумел выдать себя за аджарца Коджарова<sup>72</sup>.

Израиль Моисеевич Бружеставицкий взял себе имя Леонид Петрович Бружа (Brusha), восходящее к его студенческому прозвищу.

А вот Семен Алексеевич Орштейн, по его же образному выражению,

«переложился в Семенюка», – взял себе имя и фамилию своего ближайшего друга, бывшего председателя райпо и первого номера расчета станкового пулемета (сам Орштейн был его вторым номером). Настоящий же Семенюк Василий Кузьмич был тяжело ранен за два дня до того, как Орштейн попал в плен.

Большинство советских евреев-военнопленных спасли, впрочем, не столько их удачные псевдонимы и легенды, сколько добрые и совестливые люди – те, кого назовут потом Праведниками Мира. Среди них украинцы и русские, белорусы и поляки, татары и немцы, красноармейцы и гражданские, знакомые и незнакомые, городские и сельские жители. Особенно часты были летом и осенью 1941 г. такие случаи: пожилые и молодые крестьяне и крестьянки прятали у себя евреев-окруженцев или беглых пленных, выдавая их потом за односельчан, а иногда даже «выдирали» их из лагерей, вдруг «узнав» в них своих «мужей», «сыновей» или «братьев». А иногда спасенные и спасительницы, хорошо узнав друг друга, после войны соединялись вновь и создавали семью<sup>73</sup>.

Жизнь военнопленного еврея часто зависела от вердикта врача, поэтому неудивительно, что среди их спасителей – так много

медиков. Так, М. Шейнман обязан жизнью врачам Редькину и Собстелю в Вяземском лагере, Куропатенкову и Шеклакову – в Кальварии, Цветеву и Куринину – в Ченстохове (Шейнман 1993: 468). Врачам обязаны своей жизнью А.С. Вигдоров, Д.Л. Каутов, А.С. Кубланов и др. Рискаю жизнью, они делали фиктивные операции, укрывали евреев и комиссаров среди туберкулезных, тифозных и поносников, подменяли документы и многое другое. Интересна история Григория Г. Губермана (он же Н. Колокольцев), и самого по профессии врача (сообщена его сестрой, Ж.И. Гольденфельд, Иерусалим)<sup>74</sup>. На время расследования был заключен в тюрьму, где немецкий врач выдал ему спасительную справку о фимозе.

Иногда выручало элементарное землячество: так, москвича Эммануила Николаевича Сосина

(он же Михаил Николаевич Зарин) спасло то, что в лагере Ковно, куда он попал, один главный полицай оказался его земляком, москвичом с Мещанской улицы, – он-то и сорвал с него желтую звезду (сзади) и «отправил» в Германию (личное сообщение, 2004).

Немало военнопленных евреев спаслось, сумев убежать к партизанам. Младший лейтенант Борис Ильич Беликов, 39-летний еврей из Ялты, попал в плен под Харьковом, но не со своей частью, а с госпиталем, где лежал. Отчество он изменил на «Иванович», но спасение его было в том, что ни в сборном лагере в Чугуеве, ни в офицерском лагере во Владимире-Волынском, ни в арбайтскоммандо под Кельце он ни разу не встретил знакомых. Два самых страшных его воспоминания: первое – в лагерь поступили новички (не дай бог кто из них знакомый!), второе – медосмотр и помывка в бане (он всегда старался проскочить в гуще людей и как можно скорей намылиться). Однажды ему послышалось, что кто-то обратился к нему не «Боря», а «Борух», и он бежал. Попал к партизанам из Армии Крайовой, а потом к своим (записано с его слов в 1997 г. в Бад-Киссингене, Германия).

Михаил Меламед, военврач 192-й пехотной дивизии, попал в плен в сентябре 1941 г. под Кировоградом. В лагере возле Винницы он объявил себя татаринном. После перевода в лагерь в Житомире, а именно в июле 1942 г., бежал, был снова пойман, отправлен в лагерь в Гомель, откуда снова бежал и примкнул к 27-й партизанской бригаде им. Кирова (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, 03/4018). К партизанам – из бригады генерала Бегмы – в конечном счете попал и младший лейтенант Александр Абугов, взятый в плен в августе 1941 г. До этого он перебивал во множестве лагерей для военнопленных – Умань, Винница (здесь, по его свидетельству, были расстреляны сотни евреев), Шепетовка, Брест-Литовск, Кобрин и Ковель (откуда он и бежал) (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, Testimony Abugov).

На волосок от гибели – как в России, так и в Голландии – прошел плен и студент истфака и ополченец (впоследствии профессор истории Ростовского университета) Герман Бауман (Бауман 1991)75. Судьба пленника, проведя Я.С. Кагаловского по 16 лагерям, привела его к концу войны во Францию, а И.Е. Азаркевича – в Норвегию!

Впрочем, была и еще одна необычная траектория судьбы советского военнопленного-еврея – попадание в гетто: своего рода «польский вариант». Александр Иосифович Шпильман из Харькова попал в плен и, будучи обрезанным, был разоблачен как еврей в Каунасском (Ковненском) шталаге. Однако его не убили, а перевели в Минск, причем не в знаменитый Минский шталаг, а в Минское гетто – то самое, куда депортировали и немецких евреев. Оттуда ему удалось бежать, а потом, в порядке продолжения чуда, прибиться к партизанам и даже уцелеть (запись в архиве автора76).

Не менее поразителен случай окруженца Александра Владимировича Шламовича, до войны работавшего бухгалтером-ревизором Смоленского торгового управления и сталкиваясь в то время, по делам службы, с адвокатом Б.Г. Меньшагиным. Меньшагина немцы назначили на должность бургомистра (начальника) Смоленска. Пробравшись в Смоленск и придя к Меньшагину на прием, Шламович попросил дать ему документ, указав в нем в графе «национальность» – русский. Далее, по Меньшагину, произошло следующее: «Я сходил в паспортный отдел, порылся в архиве учетных карточек довоенного адресного бюро, вытащил из него несколько, в том числе и карточку Шламовича; потом я эту карточку незаметно положил в карман, а остальные отдал зав. адресным бюро Грибоедовой. После этого я выдал Шламовичу документ, как русскому, а старую карточку уничтожил. Шламовича я больше никогда не видел, но слышал, что он работал у немцев на железной дороге. Во время следствия по моему делу осенью

1945 г. упоминавшийся уже майор Б.А. Беляев спрашивал меня, помнил ли я Шламовича и знал ли я, что он еврей. На мой утвердительный ответ, он спросил, почему же я дал ему удостоверение, что он русский, какие задания я ему давал. Я объяснил, что причина понятна

– избежать немецких преследований, заданий же никаких не давал и самого Шламовича больше не видел. Беляев пожимал плечами, удивляясь, что я рисковал собой при обнаружении подделки и, без всяких выгод для себя, дал Шламовичу этот документ. Он так, видимо, и не мог понять того, что добро людям можно делать, не преследуя при этом каких-либо личных выгод, что оно само по себе приносит награду делающему в виде большого нравственного удовлетворения» (Меньшагин, рукопись).

Другой – и нередкой – траекторией был побег, причем побег, естественно, были эффективнее и чаще на востоке, нежели в самом Рейхе. В случае успеха он мог завершиться не только у партизан, о чем мы уже говорили, но и, скажем, в... той же Германии, однако уже в совершенно ином – гражданском – статусе. Именно такова еврейская судьба Виктора (Самуила) Ефимовича Кацперовского.

Немало военнопленных – а чаще всего даже не военнопленных, а окруженцев – еще на родине расставались с формой и выдавали себя за гражданских, в каком-то качестве и попадали в Германию – оstarбайтерами<sup>77</sup>. Их спасало и то, что на оstarбайтеров в Рейхе боевой приказ № 9 Гейдриха, разумеется, не распространялся и, как гражданских, их не подвергали селекции.

Надо сказать, что в отдельных случаях еврейская национальность военнопленного не составляла никакой тайны для его товарищей по несчастью. Но его, тем не менее, никто не выдавал, и он «благополучно» дожидался вместе с ними освобождения. Так, Александр Малофеев пишет в своих «Воспоминаниях» о шталаге IX A (Цигенхайн): «Среди нас был и еврей Леонид Портнов из Одессы, которого все тщательно охраняли от посягательств на его жизнь стороны немцев» (Малофеев 1982:42).

Интересно, что даже пребывание в плену, на территории врага, да еще под вымышленным именем, не удерживало некоторых активистов из числа евреев-военнопленных от того, чтобы принимать участие или даже возглавить сопротивление врагу. Целый ряд таких примеров – отчасти имевших место в концлагерях – приведены в «Книге памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом»: Александр Печерский (в концлагере Собибор), Борис Гройсман (Владимир Моисеев), Михаил Зингер, М.П. Шихерт (Иосиф Харитонович Альбердовский), Иосиф Хонович Альперович, Исраэль Весельницкий, Александр Моисеевич Файнбра (Хамадан, или Михайлов) и др. (Марьяновский, Соболев 1997:30–31). Подполковник Якоб Талес, взятый в плен в конце июня 1941 г., бежал из лагеря под Уманью и стал одним из руководителей сопротивления в Бершадском гетто и партизанского отряда (Krakowski 1992:228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, O33C/959).

Участвовали они в Сопротивлении и непосредственно в шталагах. Ярчайшие два – случаи Иосифа Фельдмана (Георгий Фесенко) и Макса Григорьевича Минца (Михаил Минаков). Первый – батальонный комиссар, до войны – начальник отдела в Днепропетровском управлении НКВД. Попал в плен под Уманью, но смог бежать. По заданию компартии записался на работы в Германию с целью организации сопротивления в Германии. И действительно, в марте 1943 г., в транзитном лагере в Мюнхене и вместе с летчиком К. Озолиным, Фельдман-Фесенко создал первую ячейку Братского союза военнопленных (Андреев 1999). Второй – москвич, кадровый офицер, капитан-артиллерист. В плен попал в Брянском котле, а в Германию – в мае 1942 г. Член подпольного «Комитета» в шталаге XIV Бад-Эрбке – о нем много говорится в воспоминаниях Д. Иванцова (Иванцов 1980: 53, 57, 60)<sup>78</sup>. Его памяти посвящена целая книга, вышедшая в 1999 г. в Израиле (В плену 1999)<sup>79</sup>.

Как и в концентрационных лагерях, в сопротивлении нередко и эффективно участвовали врачи. Так, уже упоминавшийся Г. Губерман-Колокольцев (он же Н. Колокольцев), работавший в Германии врачом-рентгенологом в шталаге для туберкулезных, участвовал в его лагерном подполье. Для того чтобы спасти жизнь тем или иным пленным, которым грозила смерть, их сначала записывали туберкулезными больными, а потом списывали, как

умерших, присваивая им имена людей, действительно умерших от туберкулеза<sup>80</sup>. Имени шталага Губерман вспомнить не мог, но скорее всего это – Цайтхайн. Если это так, то в эту же группу, по-видимому, входил и Д.И. Додин, работавший там в лазаретной команде старшим фельдшером (из видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 4 мая 1998 г.)<sup>81</sup>.

## Советские военнопленные-евреи в финском и румынском плену

Среди союзников Третьего Рейха по коалиции стран, объявивших войну СССР, совершенно особое место занимают Румыния и Финляндия. Только эти два государства имели на территории СССР «свои» оккупационные зоны, и только они вывозили на свою территорию и эксплуатировали принудительный труд советских военнопленных и гражданских лиц.

Финляндия, оккупировав Восточную Карелию, действовала на оккупированной территории как в военном, так и в военно-гражданском отношениях самостоятельно и независимо от своих немецких союзников. В то же время союзнические отношения Румынии с Германией во время Второй мировой войны носили совершенно другой характер и определялись тесной скоординированностью, а точнее, соподчиненностью. Румыния выступала как типичный младший союзник, или сателлит, согласовывавший с Берлином практически каждый свой шаг как в румынской оккупационной зоне (Транснистрия), так и в самой Румынии. В полной мере это относилось и к содержанию и трудовому использованию советских военнопленных, а также к принудительному труду мирных советских граждан на территории Румынии.

Во всех оперативных вопросах военного партнерства с Румынией немецкое доминирование было совершенно очевидным. За исключением битвы за Одессу, продолжавшейся до середины октября, когда румынские войска вели самостоятельную наступательную операцию, они были полностью интегрированы в немецкие вооруженные силы (например, в Крыму или на Сталинградском направлении).

Планом «Барбаросса» предусматривалось следующее распределение зон ответственности за взятых в плен красноармейцев: за территорию Рейха и Генерал-Губернаторство отвечала ОКВ, а за оперативную зону в СССР и Румынию – ОКХ, представленная в Румынии Германской миссией сухопутных войск (Deutsche Heeresmission Rum?nien). Заметьте, не союзная румынская армия, а связующий ее с вермахтом немецкий орган (Jakobsen 1965:198).

Так оно было и на самом деле. Вопросы о судьбе красноармейцев, взятых в плен на востоке общими усилиями вермахта и румынской армии или усилиями одной только румынской армией, решались не в Бухаресте, а в Берлине.

Территории, оккупированные немецкими и румынскими войсками, составили впоследствии три губернаторства, из которых два (аннексированные в 1940 г. СССР) были присоединены к Румынии – Бессарабия и Северная Буковина, а третье – Транснистрия со столицей в Одессе<sup>82</sup> – было передано под румынский протекторат по Тираспольскому договору от 30 августа 1941 г. (это было своеобразной компенсацией Румынии за большую часть Трансильвании, которую ей пришлось уступить в 1940 г. Венгрии).

В вопросах гражданского управления подконтрольными оккупированными территориями, особенно в вопросах религии, образования и культуры, румынская политика была более самостоятельной, чем в военной сфере (так, единственный открытый университет на всей оккупированной Украине находился в Одессе).

Заслуживает упоминания и «самостоятельность» Румынии, как это ни удивительно, в

вопросах геноцида евреев. Быть может, еще более жестокая и беспощадная по отношению к евреям на первом этапе войны (примерно до Московского контрнаступления

Красной Армии), позднее политика Румынии стала несравнимо мягче. Начиная с начала 1942 г. уничтожение евреев в румынской оккупационной зоне фактически прекратилось. Можно уверенно сказать, что шансы евреев на выживание в зоне румынского гражданского управления были гораздо выше, чем в оперативной зоне вермахта или в Рейхскомиссариате Украина: здесь уцелело и дождалось освобождения заметное большинство всех евреев на территории послевоенного СССР, избежавших ликвидации (Альтман 2002).

Согласно энциклопедическому словарю «Румынская армия во Второй мировой войне (1941–1945)», выпущенному в Бухаресте в 1999 г. (Dutu, Dobre, Loghin 1999:329–34183), за период между 22 июня 1941 г. и 22 августа 1944 г., т. е. за время боевых действий между советской и румынской армиями, румыны взяли в плен 91060 советских военнослужащих<sup>84</sup>.

Военнопленные поступали из зоны действия румынской армии, в частности, 21 тыс. прибыла из Транснистрии и 19 тыс. из Крыма. Около 2 тыс. военнопленных было на судне, потопленном советской подлодкой в районе Бургаса, и лишь 170 из них спаслись.

Из 91060 советских военнопленных 13 682 чел. было отпущено из плена (румыны – а скорее всего, румыны и молдаване – из Северной Буковины и Бессарабии; немцы-фольксдойче передавались немецкой стороне и, скорее всего, не регистрировались), 82 057 доставлено в Румынию, 3331 бежал и 5223 (или 5,7 %) умерло в лагерях. Это несоизмеримо малая величина по сравнению со смертностью советских военнопленных в финском и, особенно, в немецком плену.

Для советских военнопленных было создано 12 лагерей, из них два лагеря находились вне Румынии – в Тирасполе и Одессе. В самой Румынии находилось, по утверждению румынских историков, 10 лагерей, однако перечень лагерей, хотя бы раз упоминаемых в их тексте, несколько превосходит это число. Это: Слободзия, Владень, Брашов, Абаджеш, Корбень, Карагунешт, Дева + Индепенденца, Ковулуй + Майя, Васлуй, Дорнешти, Радоуть, Будешти, Фельдиора, Боград и Ригнет<sup>85</sup>.

Отвечала за военнопленных Gas Kommando der Streitkräfte für Innere Verteidigung под командованием генерала Харитана Драгомиреску. Охранялись лагеря румынской жандармерией численным составом, по состоянию на 1 августа 1942 г., в 4210 чел. (216 офицеров, 197 унтер-офицеров и 3797 солдат).

Условия жизни в лагерях, в соответствии с международным правом, существенно различались для офицеров и солдат: первые жили в каменных домах, вторые – в деревянных бараках, а осенью 1941 г. – частично и на земле, под открытым небом (печи для бараков получили только в 1942 г.). В медицинском отношении лагеря для советских военнопленных обслуживало более 150 врачей – 6 румынских, 66 еврейских и 85 советских.

Из 5223 умерших – всего лишь 55 офицеров и 6 младших офицеров. Остальные – солдаты, причем больше всего умерло в Будешти (938 чел.), Вулкане (841), Васлуе (799) и Фельдоаре (738). Среди причин смертности – тиф (1100 чел.), несчастные случаи на работе (40 чел.), то же при побеге – 18 чел. Всего 12 чел. было расстреляно, и 1 покончил с собой.

О том, какой ад на самом деле стоит за «лидерством» по смертности лагеря в Будешти, рассказал один из его узников – Дм. Левинский. Плененный в июле 1941 г. под Березовкой немцами, он был доставлен в сборный пункт под Кишиневом, оттуда, в августе, в Яссы, а в октябре – в пересыльный лагерь в Будешти (сначала в карантин, а потом в основной лагерь), причем во всех трех случаях лагеря охранялись немцами<sup>86</sup>.

«Сущность понятия „пересыльный“ лагерь мы быстро поняли: здесь нас никто не избивал и,

тем более, специально не убивал, но невероятные условия, которые ожидали нас, вызвали зимой 1941–1942 г. большую смертность среди военнопленных, что позволило приравнять этот лагерь к „лагерям уничтожения врагов третьего рейха“. С такими местами многим из нас тоже предстояло познакомиться. А в этом лагере все было предельно просто: тебя не убьют – ты умрешь сам. Если выживешь – твое счастье, а если нет – таков твой рок. Изменить эти условия мы не могли.

Первое время, около месяца, нас держали в „карантине“: в огромном высоком бараке без окон и дверей. Похоже, что это помещение использовалось ранее для хранения сена или соломы. Снаружи барак опоясывала колючая проволока. Нами никто не „управлял“, мы были никому не нужны и могли всласть валяться на земле и балагурить. Но вскоре жизнь в бараке сделалась пыткой.

Наступил ноябрь, а с ним пришли холода. Эта зима обещала быть морозной даже на самом юге Румынии. Барак насквозь продувался – ворот не было. Внутри барака сперва образовались ледяные сосульки, а затем и настоящие айсберги. Холод стал вторым врагом после голода. Согреться можно было только прыганьем, но на это не хватало сил – мы постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и уменьшался с каждым днем. У многих появились желудочно-кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления легких. Развились фурункулез, сыпь, различные флегмоны, кровавый понос, чахотка – все не перечислить. С наступлением морозов начались обморожения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть большинство встретило спокойно, как должное: не надо было попадать сюда!

В середине ноября, когда нас становилось все меньше и меньше, и жить из-за наступивших морозов стало совсем невозможно, нас перевели в основной лагерь, посчитав, что карантин свое дело сделал...

Барак в основном лагере были деревянными, одноэтажными, небольшими. В них обычно размещалось не более 200 человек, но с каждым днем живых становилось все меньше. На дощатом полу лежали стружки и опилки, на которых мы спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, чтобы не ходить ногами «по кровати».

Узнали еще одного врага – тифозную вошь. Это было ужасно: за короткое время противные твари расплодились в таком количестве, что куча стружек в углу барака шевелилась. Создавалось впечатление, что в куче больше вшей, чем стружек. За ночь мы по многу раз вставали, выходили из барака на улицу, сдергивали с себя одежду и с остервенением вытряхивали кровососущих тварей на снег, но их было столько, что сразу избавиться от них мы, естественно, не могли. Поэтому приступали ко второму этапу очищения: мы долго и настойчиво давили теперь тех, что попрятались в швах белья и одежды. Так продолжалось каждую ночь, но такую роскошь могли себе позволить не все, а только те, у кого еще оставались силы, и не наступило полное безразличие ко всему с одним лишь ожиданием смерти-избавительницы. У тех, кто надеялся обеспечить себе спокойную ночь, на «вошебойку» полностью уходило дневное время.

Температура воздуха в бараках – уличная. Мы погибали от холода, а насекомые были настолько живучи, что казалось – они совсем не боятся мороза.

Это мы согревали их своим телом, отдавая последнее тепло.

К нам вплотную подобрался сыпной тиф. Уже метались люди в горячке, а мы не понимали, что это за болезнь. Думали – простуда или воспаление легких, или что-нибудь еще. По молодости лет мы не сталкивались с сыпным тифом...

Спали мы на полу, на стружках, вповалку рядами, тесно прижавшись друг к другу для тепла. Утром проснешься, а сосед уже „стучит“ – за ночь умер и к утру окостенел. Каждую ночь

смерть забирала чьи-нибудь жизни. Утром мы выносили тела умерших и складывали их в водосточной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение недели, высота таких „могил“ достигала окон барака.

Трупы обычно раздевали – одежда нужна живым... Раз в неделю накопившиеся вдоль бараков тела мы должны были относить метров за 100 в сторону и укладывать рядами друг на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпался хлорной известью, а затем клали следующий ряд, и так продолжалось всю зиму...

А, в общем, мы настолько привыкли к лежащим вокруг бараков обнаженным телам соотечественников, что перетаскивание трупов казалось рядовой работой, и конец всем ясен. К чему эмоции?» (Левинский 2005:158–159).

Уже одна эта цитата заставляет серьезно усомниться в полной достоверности декларированной и сравнительно благополучной 6-процентной смертности среди советских военнопленных в Румынии. «Подозрения» перерастают в уверенность после знакомства с некоторыми документами Красной Армии, освобождавшей Румынию.

Так, в «Акте о злодеяниях немецко-румынских фашистских захватчиков в лагере советских военнопленных (лагерь Фельдиора, уезда Брашовского, Румыния)» говорится о 1800 замученных и погибших военнопленных (ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2772. Д. 30. Л. 281–286), что в 2,5 раза превышает официальную румынскую цифру (738 чел. – см. выше). Согласно этому документу, датированному 7-13 сентября 1944 г., комендантом лагеря был румын Иона Ницеску, а начальником карательной секции – немец, лейтенант Порграц. Охрану лагеря несла рота румынских жандармов в 120 чел., вооруженная винтовками и дубинками (на вышках по периметру лагеря, обнесенного колючей проволокой, стояли пулеметы). Умершие, замученные и убитые военнопленные сбрасывались в яму у шоссе на дороге Владени-Фадераш вблизи строительства тоннеля.

«За малейшее нарушение, – читаем в этом „Акте“, – военнопленных наказывали „карцером“ на 2–3 суток (карцер состоял из ящика наподобие шкафа площадью на одного человека с окошками), человек от изнурения выл как животное, каждый проходящий жандарм бил его палкой.

Бежавшие из лагеря задерживались, подвергались избиению, в одном случае одноразово по 40 дубинок по голому телу, в другом случае – по 15 дубинок в каждой секции (бараке. –

П.П.), после чего заключались в сырой подвал на 20 суток, а впоследствии предавались суду и осуждались на каторжные работы или к расстрелу. Так, были избиты и преданы суду военнопленные Шейко, Губарев и другие...»

Советские военнопленные в Румынии активно привлекались к принудительному труду. В том же румынском источнике говорится о примерно 21 тыс. горных рабочих из их числа (ср. ниже со сведениями о гражданских рабочих). По состоянию на начало января 1943 г., работали 34145 советских военнопленных, на начало сентября 1943 г. – 15 098, а по состоянию на август 1944 г., когда в Румынию, по всей видимости, стали вывозить шталаги из Украины, – 41 791 чел., причем 28 092 из них работали в сельском хозяйстве, 6237 в промышленности, 2995 в лесоводстве, 1928 в строительстве и 290 на железных дорогах.

Об условиях их трудового использования повествует вышеупомянутый «Акт»: «Советские военнопленные, раздетые, голодные, истощенные и больные работали по 12–14 часов в сутки. Отстающие в работе подвергались избиению дубинками (палками). Советские люди работали на холоде без обуви и одежды, приспособляли себе обувь из соломы, для утепления тела под рубаху набирали солому. Жандарм, заметивший это, соломенную обувь отбирал, солому из рубахи вытряхивал, а военнопленного избивал дубинками... За невыход на работу больные военнопленные заключались в подвал на 10–20 суток без права выхода

на воздух и выдачей 150 грамм хлеба и воды на сутки».

Особенным издевательствам подвергались евреи: они содержались отдельно, и над ними, как сказано в документе, «не было предела издевательствам». Одного военнопленного – по фамилии Голва (или Голка) – администрация лагеря признала за еврея и утопила в уборной.

Таким образом, геноцидальные приказы Кейтеля и Гейдриха, направленные на выявление в массе военнопленных и немедленное уничтожение выявленных при этом евреев, действовали и в зоне ответственности румынской армии, причем чуть ли не до самого конца ведения ею боевых действий.

И тем не менее, в отличие от Германии, Румыния отказывала советским военнопленным не во всех правах, вытекающих из международного статуса военнопленных. Лагеря для советских военнопленных пусть редко, но посещались представителями МКК87. Так, 1 июля 1942 г. лагеря № 4 Васлуй и № 5 Индепенденца посетил нунций монсеньор А. Касуло, посол Ватикана в Бухаресте и, по совместительству, представитель МКК, а 14 мая 1943 г. делегация МКК из Женевы (Ed. Chaupissant, D. Rauss) посетила лагеря Бухарест, Майю, Калафат и Тимишоара. Не запрещалась им и почтовая переписка – правда, весьма ограниченная: представителям МКК было передано более 2000 открыток (правда, из них всего 200 открыток пришлось на период до 1 июля 1942 г.). Начиная с 1943 г. стали выходить и специальные газеты для военнопленных: одна на русском и одна на армянском языке.

По состоянию на 23 августа 1944 г., в румынских лагерях оставалось 59 856 советских военнопленных, из них 57 062 солдата. Их национальный состав, согласно тому же источнику, выглядел следующим образом:

Таблица 1

Национальный состав советских военнопленных в Румынии

?ae ?OE: Dutu, Ebbre, Ioghin 1999.

Обращает на себя наличие в таблице военнопленных лиц еврейской национальности. Трудно сказать, основываются приводимые данные на материалах регистрации военнопленных или на их заявлениях после освобождения (скорее второе, чем первое).

Однако бросается в глаза, что вышеприведенная цифра количества советских военнопленных в Румынии накануне ее капитуляции (59 856 чел.) почти вдвое превышает число советских военнопленных, репатриированных из Румынии в СССР, – 28 799 чел. (по состоянию на 1 марта 1946 г.) (Полян 2002:489, со ссылкой на: ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 3. Д. 53. Л. 175).

В чем тут дело? Объяснение за счет невозвращенцев тут явно не работает, поскольку речь идет о территории, контролировавшейся СССР. По этой же причине отпадает и объяснение саморепатриацией, хотя некоторые военнопленные из числа жителей близлежащих молдавских районов и украинских областей, возможно, и предприняли такие попытки, благо специальной репатриационной службы и лагерной инфраструктуры на этот момент времени еще не существовало (она возникла только в октябре 1944 г.). Скорее всего, часть пленных красноармейцев заново призвали в Красную Армию, а часть воспользовалась тем, что в их



лагерях румыны содержали также и гражданских лиц и объявили себя на советской регистрации не военнопленными, а гражданскими лицами.

Кроме того, как выясняется, и сама румынская администрация практиковала официальный перевод советских военнопленных из статуса военнопленных в гражданский, чего, после ноября 1941 г., почти не делали немцы. Так, 1 марта 1944 г. из плена было отпущено 9495 чел., в том числе 6070 румын из Сев. Буковины и Бессарабии и 1979 румын из Транснистрии, 205 немцев, 693 чел. с территории восточнее Буга, 577 несовершеннолетних (моложе 18 лет) и 963 инвалида (Dutu, Dobre, Lokhin 1999).

Как в военном, так и в военно-гражданском отношениях

Финляндия, в отличие от Румынии, действовала на оккупированной ею территории совершенно самостоятельно и практически независимо от своих немецких союзников.

В 1940 г. Карелия, как изначально финская государственная территория была оккупирована советскими войсками в результате так называемой «зимней войны», а в начале Великой Отечественной войны была вновь завоевана финскими войсками и в дальнейшем ходе войны длительное время оставалась оккупированной Финляндией. Значительная часть Ингерманландии в июне 1941 г. была оккупирована и немецкими войсками.

На территории Восточной Карелии, оккупированной финнами и немцами, было создано в общей сложности 27 различных лагерей для советских граждан, из них 17 для военнопленных, 3 – для военнопленных и для мирного населения и еще 7 – для мирного населения. Крупнейшие из них находились в Петрозаводске, Ильинском, Олонце, Сала (шталаг № 309) и др. местах. В них содержались главным образом русские по национальности (как трудоспособные, так и старики и дети), но также и «политически ненадежные» финны. Часть из них была дислоцирована финнами внутри своей оккупационной зоны. Общее число узников этих лагерей – порядка 25 тыс. чел. Подавляющее большинство этих лагерей находились в зоне, контролируемой финнами: их сооружение и установление в них соответствующего варварского режима осуществилось по инициативе исключительно финского командования, без каких бы то ни было указаний, распоряжений или нажима с немецкой стороны<sup>88</sup>.

На территории Финляндии во время войны содержались как советские военнопленные, так и гражданские лица.

В 1941–1944 гг., согласно официальным финским данным, финны взяли в плен 64 188 советских солдат и офицеров. Из них погибло в плену 19 016 чел. (или 29,6 %), бежало из плена – 712 чел. (1,1 %), репатриировано – 42 412 чел. (66,1 %), а 2048 чел. (3,2 %) смогли избежать репатриации и остаться (Дугас, Черон 1994: 59, со ссылкой на: Roschmann 1982). По советским данным, число репатриированных военнопленных практически совпадает: 42 778 чел. (Полян 2003:489).

Для сравнения заметим, что за время боевых действий финская сторона потеряла 60 тыс. убитыми и всего 3,4 тыс. пленными, из них 1,4 тыс. (или 41,1 % – чудовищная цифра!) умерли в советском плену (Малми 1996: 134; см. также: Галицкий 1997). Интересно, что и во время 105-дневной «зимней войны» 1939/40 г. в советский плен попало практически столько же – 3,4 тыс. – финских военнослужащих, что и в 1941–1944 гг., – против около 5,6 тыс. советских военнопленных, попавших в плен финский (Носырева, Назарова 1995:101).

Еще несколько цифр для сравнения: число убитых и умерших во время санитарной эвакуации в 1939–1940 гг. – 65 384 чел., а число пропавших без вести (читай: пленных) – 19 610 чел.; из них репатриировалось – 5468 чел. при 99 оставшихся в Финляндии добровольно (Гриф

секретности 1993:99-100).

Примечательна политика финской стороны по отношению к советским военнопленным-евреям. Сами специальных репрессий по этническому признаку они не проводили, тем не менее практиковали передачу военнопленных евреев и комиссаров в руки СД, что фактически означало следование принципиальным установкам «Приказа о комиссарах»! Как показали исследования Сары Бейцер и Элины Сана, эта судьба (с документально не прослеженным, но достаточно предсказуемым концом) выпала как минимум 70 таким военнопленным<sup>89</sup>. Первая документированная передача состоялась 6 октября 1941 г. (кстати, из лагеря Сала в оккупированной финнами Восточной Карелии)<sup>90</sup>, а последняя – в сентябре-октябре 1942 г. Такого рода передачи советских военнопленных, во-первых, ставят евреев-военнопленных, попавших в финский плен, юридически в точно такое же положение, как и у бывших военнопленных-евреев, переживших немецкий плен.

Воспоминания Раскина и Волынца, бесспорно, являются центральными в разделе эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям в финском плену. Они не только самые пространные, но и самые подробные во всем этом разделе. Остальные воспоминания, репродуцируемые (с сокращениями) из сборника, составленного Ш. Янтовым в 1995 г., также содержат немало интересных деталей.

Вот два вывода, которые можно достаточно уверенно вывести из блока этих воспоминаний. Финский плен был хотя и тяжел, но явно уступал немецкому по степени своей бесчеловечности – как общей, так и антиеврейской. В то же время антисемитская линия финских властей очевидна: тут и издевательские комментарии относительно немецкой политики геноцида евреев, и антисемитизм части лагерного персонала, а главное – тенденция к концентрации еврейских военнопленных в ограниченном количестве лагерей (в частности, в Наариярви, Лоуколампи и Монтола). Последняя делала возможной, в случае «необходимости», быструю передачу еврейских военнопленных в немецкие руки – вариант, воспринимавшийся как самими военнопленными-евреями, так и их охранниками, абсолютно всерьез. Эта же концентрация, конечно, открывала путь и к еврейской взаимопомощи (как со стороны еврейской общины Хельсинки, так и внутри лагерей) и тем самым облегчала евреям жизнь.

И тем не менее антисемитизм, с которым сталкивались советские военнопленные-евреи в финском плену, не шел ни в какое сравнение с геноцидальной атмосферой Третьего Рейха, и никакой личный бытовой антисемитизм того или иного лагерного начальника или переводчика не мог изменить этого обстоятельства – решающего для выживания еврейских военнопленных в плену.

Вместо P.S.: советские военнопленные-евреи после Победы – репатриация, фильтрация и некомпенсация

Нешуточную опасность для советского еврея-военнопленного, вырвавшегося из окружения, бежавшего из плена или репатриированного после войны, представляли «свои». Проверкой всех советских военнопленных занималась военная контрразведка Смерш («Смерть шпионам»).

Помимо общего недоверия к любому и каждому, военнопленным-евреям предстояло столкнуться еще и с язвительным удивлением по поводу того, а как это он, «абрам», не погиб, а жив остался? Множество таких ситуаций описывается на страницах настоящего сборника.

Упомянутый выше лейтенант Сергей О., выдававший себя у немцев за татарина, у своих,

после освобождения, получил «за измену Родине» 15 лет Дзезказганских лагерей (Черненко 1997: 22). Говорилось и о Борисе Ильиче Беликове. Напомним, что к своим он попал после того, как повоевал у партизан из Армии Крайовой. В 1946 г. он был арестован и остаток жизни Сталина провел в Норильске (записано с его слов в 1997 г. в Бад-Киссинге-не, Германия).

Кузьма Соломонович Ресин, 1908 г. р., три года провел в немецком плену, бежал и сумел перейти линию фронта. На допросах «у своих» бежавшие с ним солдаты показали, что он беседовал в лагере с немецким офицером по-немецки: за это он был осужден, заключен в лагерь и умер 24 августа 1945 г. в Инте. Реабилитирован посмертно в 1988 г. (Марьяновский, Соболев 1997: 33).

А вот еще одна еврейская судьба – судьба Владимира Сиротина, родом из Гомеля, 16-летним добровольцем ушедшего на фронт, взятого в плен под Севастополем в 1942 г., а после репатриации на родину зачисленного в спецконтингент. В нижеследующем рапорте на имя начальника Управления по репатриации советских граждан генерал-полковника Ф. Голикова он писал: «...Сейчас нахожусь на госпроверке уже 6 месяцев. Сажу в лагере, кончил допрос и сажу не знаю, за что у немца убивали мучали и издевались как собакой и остался жив и теперь. Сажу в лагере многое время. За что сажу я с моей национальностью один человек в лагере и думаю, сколько можно сидеть и за что. Если считают виноватым, то пускай судят, а если не виноват, то почему так долго держат? Я очень убит и морально расстроен» (Полян 2002:90).

Признаться, до самого недавнего времени встретить живьем хоть одного бывшего советского военнопленного еврейской национальности не приходилось. Вероятность такой встречи, по изложенным выше соображениям, и впрямь была не слишком высокой.

Тем не менее чудеса случаются, и такая встреча (а за ней и другие) все же состоялась – в декабре 2002 г., после того как меня разыскал А.С. Вигдоров из Москвы. В январе 2003 г. состоялась встреча с еще одним таким военнопленным – Ф. Гисиним из Риги, ныне проживающим в г. Виттене в Германии. Оказалось, что еще несколько десятков человек до сих пор живы, проживают на просторах от Феодосии и Санкт-Петербурга до Ганновера, Хайфы и Нью-Йорка.

Все они, будучи в Германии и скрываясь под чужими именами, подвергались насильственной эксплуатации, но никто не получил ни цента компенсации. И Немецкий, и Австрийский компенсационные фонды в компенсации им и другим советским военнопленным дружно и твердо отказали. И, не повторяя «ошибок» прошлого, без какого бы то ни было различия национальностей – дискриминации в этом благородном деле нет!91

## Примечания

1

О геноцидальном характере политики Германии по отношению к советским военнопленным как к контингенту в целом см. прежде всего: Streit 1978; Полян 1996; Gerlach 1999; Полян 2002; Шнеер 2003. Эта политика была дифференцированной в этническом плане (так, украинцы, белорусы, грузины, представители северокавказских народностей, не говоря уже о фольксдойче, были привилегированны в целом ряде отношений – см. ниже), но предпринятая К. Беркофом попытка придать этой политике в целом еще и этноцидальный – направленный на русских как этнос – характер (Berkoff 2001) не представляется нам убедительной. Единственным этносом в составе красноармейцев, уничтожавшимся поголовно, были евреи (сведениями о селекции и уничтожении военнослужащих-цыган не располагаем).

2

В другом месте тот же Ф.Д. Свердлов называет цифру в 450–470 тыс. евреев в Красной Армии; ее же повторяет и А. Арад (Шнеер II: 28).

3

Ф.Д. Свердлов приводит иную цифру погибших в боях – 150 тыс. чел.

В 200 тыс. чел. он оценивает боевые потери евреев-воинов в целом (Свердлов 2002:214).

4

Это соответствует около 40 % общих безвозвратных потерь (против 25 % по Красной Армии в целом).

5

По этому показателю евреи занимают третье место вслед за русскими и украинцами, притом что по численности населения они были накануне войны лишь седьмыми. См. также: Шнеер 11:41–42.

6

См. выше о судьбе евреев-военнослужащих из польских соединений в составе французских войск в 1940 г.

7

Ш. Датнер писал, что причины такого чудесного избавления евреев-офицеров остаются невыясненными (Датнер 1963:20).

8

По существу, эта АК была наскоро собрана из местных полицейских (см.: Longerich 1998: 296–351).

9

В общей сложности они насчитывают примерно 2900 машинописных страниц! Впрочем, заметим, что «Сообщения...» составлялись в Берлине на основании более детальных отчетов с мест, поступавших не всегда регулярно и синхронно, – тем более поэтому синхронизировать их удавалось на всегда.

10

Здесь имеется в виду преобладающая тенденция: уже отмечалось, что отдельные чисто немецкие операции по ликвидации евреев имели место уже и в это время,

11

Определенное отставание было тем более неизбежно и в деятельности зондеркомmando, действовавших в ближайшем тылу отдельных сухопутных соединений.

12

Далее следуют уже Генерал-Губернаторство и собственно Рейх.

13

Гитлер, как записал в своем дневнике Гальдер, еще раз повторил их 17 марта 1941 г. на встрече с Гальдером, Вагнером и начальником оперативного отдела ОКХ полковником Хойзингером, подчеркивая, что ангажированная Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена.

14

Erlassentwurf zur "Regelung des Einsatzes der Sicherheitspolizei und des SD im Verb?nde des Heeres" (Ogorreck 1996:27–28, со ссылкой на: BA/MA, RW 4/v. 575, Bl. 43–45).

15

Об организации тыла вермахта в СССР см.: Dallin 1958:106–107.

16

Такой отказ получил, в частности, из штаба 11-й армии начальник АГ «D» О. Олендорф, рвавшийся как можно скорее на Кавказ (см.: Ogorreck 1996:43–44).

17

За исключением случая с Кретингой (см. выше).

18

Несколько менее общее представление об их концепции дает запись офицера штаба 11-й армии, сделанная им после доклада Латманна 16 мая: «Политических комиссаров отправлять в тыл сухопутных войск и передавать СС» (F?rster 1983:436, со ссылкой на: BA-MA. Allierte Prozesse 9, NOKW-486).

19

См. материалы к докладу генерала Варлимонта «Обращение с захваченными в плен политическими и военными русскими руководящими работниками» от 12 мая 1941 г.: БАМА, RW 4/V.577; рус. пер.: Советские военнопленные 1991:30–31.

Интересно, что даже в таком одиозном по своей откровенности документе, как приказ командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Рейхенау «О поведении войск на Востоке» от 10 декабря 1941 г., фигурирует уже не «большевистско-еврейская», а «азиатско-еврейская» и даже просто «азиатская» опасность и угроза.

21

Предыстория и результаты осознанно противоправной политики вермахта по отношению к советским военнопленным представлены также в трудах К. Штрайта, А. Штрайма и Р. Отто (Streit 1978; Streim 1981; 1982; Otto 1998).

22

Соответствующий приказ по ОКБ был выпущен Кейтелем назавтра, 14 мая 1941 г.

23

Юридическим основанием для расстрелов политко-миссаров служил как раз Указ Кейтеля от 14 мая 1941 г. об освобождении от судебной ответственности в зоне «Барбаросса».

24

В этом принимал посильное участие и вермахт, на листовках которого еще в 1935 г. «господа комиссары и партруководители» назывались не иначе как «грязные жида» (F?rster 1983:440). Что уж говорить о листовках, разбрасывавшихся в 1941 г.: «Бей жида-политрука – морда просит кирпича» – и так далее!

25

Интересно, что в самом начале войны, при вступлении вермахта на бывшие польские территории, задача ликвидации польской интеллигенции была отставлена – в том числе и вследствие использования в собственных целях как польского антикоммунизма, так и польского антисемитизма, о чем прямо писал Гейдрих в своем «Приказе № 2» от 1 июля 1941 г. (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д– 209– Л. 109).

26

Другими задокументированными разновидностями «расширенной интерпретации» этого приказа явилось его распространение на военнопленных-женщин и на раненых (см., в частности, в показаниях рядового вермахта М. Шарте: Лужеренко 1989:173–174).

27

На самом деле доля евреев в комиссарском корпусе Красной Армии была хотя и высокой, но уступала геббельсовской «цифре» в 4–5 раз.

28

Интересно, что вместе с проектом инструкции – и под тем же номером – хранится «Дополнение» к ней, содержащее ссылку на окончательную редакцию инструкции и подчеркивающее особую важность задачи по выявлению среди военнопленных лиц, вызывающих доверие и могущих быть в интересах Рейха так или иначе использованными (IfZ. Dok. PS-078. Bl. 4–6).

29

Впрочем, у политруков из неевреев, в отличие от евреев, еще оставался «шанс» уцелеть: спасительной могла бы стать (а могла и не стать) их готовность к „сотрудничеству“ с оккупантами и степень заинтересованности в этом последних.

30

Незначительное и, как правило, временное исключение могли составлять военнопленные еврей-врачи (см. ниже).

31

Последний раз оно легло на бумагу, подписанную Кейтелем 12 сентября 1941 г. (Jacobsen 1967:207).

32

Такие лоскуты практиковались в Кальварии (Шейнман 1993:468).

33

Согласно показаниям Эрвина Лахузена, данным им в 1947 г., это совещание состоялось в конце лета (Hilberg 1999:354–356, со ссылкой на документ NO-2894).

34

Было, в частности, постановлено производить казни на расстоянии не менее 500 м от лагерей. См. допрос свидетеля Э. Лахузена 30 ноября 1945 г. на Нюрнбергском процессе: Нюрнбергский процесс 1990: 170–180.

35

В соответствующем циркуляре от 2 июня 1942 г. начальник РСХА и СД приказывал в дальнейшем проводить селекцию на территории Генерал-Губернаторства, отказавшись при этом от практики селекции политкомиссаров и политруков: «В остальном все остается по-старому (евреи, преступники и т. д.)» (Jacobsen 1967:229. Dok. 40). Интересно, что вскоре в СССР был ликвидирован и сам институт военных комиссаров – 9 октября 1942 г. их упразднили в Красной Армии, а 13 октября 1942 г. – на Военно-морском флоте (см.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 38).

36

Процесс подготовки и осуществления такой «военно-судебной» реформы подробно раскрыт в исследованиях А. Штрайма и Р. Отто (Streim 1981;

Otto 1998).

37

РСХА состояло из тайной полиции (гестапо), уголовной полиции (крипо), полиции безопасности (зипо) и СД. В геноциде евреев активнейшее участие приняли также основные и резервные батальоны полиции правопорядка(Ordnungspolizei).

38

Впрочем, известен случай перевода военнопленного литовской национальности в статус гражданского иностранного рабочего (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 115. Д. 28. Л. 65а).

39

См. запрос отдела труда гебитскомиссариата Белоруссии бургомистру Койдановского района о двух бежавших из лагеря освобожденных военнопленных от 8 октября 1942 г. (Белорусские оstarбайтеры 1996: 199, со ссылкой на: НАРБ. Ф. 393. Оп.3. Д. 43. Л. 25).

40

То есть практически одновременно с распространением указанной листовки!

41

По состоянию на 1 апреля 1942 г., их число составляло 292 702 чел., в подавляющем большинстве украинцы (ВА-МА, RH 3/V.180, VI.27).

42

Применительно к Житомирскому лагерю и со ссылкой на Л.Б. Берлина такой случай, датированный сентябрем 1941 г., описывает М. Шейнман (1993:467).

43

Об этом зашла речь и на допросе Э. Лахузена 30 ноября 1945 г. на Нюрнбергском процессе (см.: Нюрнбергский процесс 1990:178).

44

Попутно замечу, что в нацистской среде было распространено мнение, культивируемое грузинскими шовинистами и разделяемое некоторыми немецкими «экспертами» в Берлине, что армяне, подобно евреям, были левантийскими торговцами и к тому же, в отличие от грузин, не являлись арийцами.

С «научной» точки зрения эта проблема так и осталась без разрешения, а вот с практической ответом явилось то, что обхождение с армянскими военнопленными и беженцами было существенно хуже, чем, например, с грузинскими (см.: Dallin 1958:241).

45

Выражение Б.Н. Соколова. Об эмоциях русских людей, заподозренных или могущих быть заподозренными в еврействе или в укрывательстве евреев, см. ниже у А. Малофеева и Б.Н. Соколова.

46

См., в частности, воспоминания А. Резниченко (1993). Впрочем, вопрос об участии лагерных полицейских в расстрелах евреев-военнопленных остается недостаточно исследованным.

47

Г.М. Зусманович (1899–1944) был заместителем командующего 6-й армией по тылу (командарм – генерал-лейтенант И.Н. Музыченко). Как и многие другие, Зусманович скрывал свою национальность, выдавая себя за украинца и говоря с немцами только по-украински. Был в лагерях в Холме, Нюрнберге, с 1943 г. – в Вайсенбурге, где осенью 1944-го умер (Свердлов 2002:342–344).

48

Первая оценка принадлежит А. Араду (Арад 1990: 30), а вторая – А. Шнееру (Шнеер II: 91). К сожалению, методика их получения в публикациях не раскрыта.

49

Устное сообщение в ноябре 2004 г. в Иерусалиме.

50

Об этом сообщалось в ежедневном бюллетене РСХА «Отчет о событиях в СССР» (Ereignismeldung UdSSR. № 58.20.08.1941).

51

Произведенная в августе 1944 г. эксгумация подтвердила эти сведения, но остается неясным, хотя и весьма вероятным, что в эти 30 тыс. чел. входили также и гражданские жертвы.

52

Ответственным за их выявление был лейтенант Фридрих Хоффман из абвера, а за их уничтожение унтерштурмфюрер СС Адальберт Бенда (Adalbert Benda), возглавлявший специальное подразделение (так называемая «команда Бенда»), Ш. Краковский указывает на материалы процесса над военными служащими этого лагеря (Krakowski 1992:224–225, со



ссылками на: Yad Vashem Archives, TR-10/631; Zentralstelle Ludwigsburg, VI 302, ARZ, Bd. II).

53

По всей видимости, имеется в виду Форт IX.

54

По советским данным – 700 (см. ниже).

55

Против капитана Гарбе (Garbe) и фельдфебеля Кемпфа (Kempf) было возбуждено дело, и в 1967 г. в Ганновере состоялся суд (Krakowski: 1992:223–224, со ссылками на: Yad Vashem Archives, TR-10/689, TR-19/1184Z).

56

При этом существенно указание на сравнительно небольшое – по сравнению с еврейскими жертвами – число ликвидированных за это время политработников, активных коммунистов, саботажников и т. д.

57

Расстрел производился

19 октября 1941 г., причем непосредственно в лагере, на глазах у остальных 300 военнопленных.

58

Свидетельство бывшего солдата-красноармейца и еврея Эриха Шлехтерера, взятого в плен в августе 1941 г. под Харьковом (Jacobsen 1967:229–230).

59

С. Анваер (2005) и М. Шейнман (1993:465) сообщают это применительно к лагерю в Рославле и Житомире, а А. Резниченко (1993:393) – в Хороле. А.Резниченко описывает случай, когда разоблаченного еврея опустили вниз головой в чан с горячей баландой и несколько минут держали так за ноги. После чего чан опрокинули, и обезумевшая толпа бросилась к луже с мертвецом слизывать и сгребать остатки этого пойла.

60

Сама по себе селекция в строю со спущенными штанами происходила с каждым новым транспортом и в Славуте (Шейнман 1993: 466).

61

Тут немцы, видимо, просчитались: многие военнопленные, особенно русские, резонно воспринимали расправу над евреями не иначе как первый этап: мол, расправятся с евреями, примутся за русских.

62

Случаи сравнительно продолжительной работы военврачей-евреев в шталагах зафиксированы и в картотеке ЦАМО (см. Приложение 2).

63

Возможно, это связано с массовой отправкой в это время на фронт необученных евреев-добровольцев. Для сравнения: из 23 бывших советских военнопленных-евреев, зарегистрированных при Московской Ассоциации узников фашистских концлагерей, 14 попали в плен в 1941 г., по 2 – в 1942 и 1943 гг. и 4 – в 1944–1945 гг. (Марьяновский, Соболев 1997:33).

64

Интересно, что получатели приказов № 8 и 14 обязывались их по ознакомлении уничтожить.

65

Для убедительности и научности прилагался еще и составленный в министерстве обзор народов и народностей СССР (Streim 1981:72).

66

Оба они попали в плен практически в один день (23–24 июля 1941 г.), оба прошли через одни и те же лагеря, где, вне всякого сомнения, были знакомы (дулаг 202, откуда они были отправлены – 8 и 18 марта 1942 г. – в шталаг XVII А, а уже оттуда в Маутхаузен). Еще одна «пара» в этой выборке – капитан Бовшевер и врач Абрамович, почти параллельно прошедшие через шталаг III В (12 и 16 ноября 1943 г.) и вместе переданные в Заксенхаузен 3 февраля 1944 г. Третья «пара» – врачи Аген и Гриц, 21 октября 1942 г., оба переведенные в шталаг III В, а 12 января 1943 г. – переданные через гестапо г. Фюрстенберга-на-Одере в Заксенхаузен.

67

Впрочем, никто не поручится и за объективность заключения следователя Смерша Нозурачева, именно так, а не иначе обозначившего преступление М. Фрейдина (ГАРФ. Ф. 8409. Оп. I. Д. 604. Л. 119).

68

В частности, фимоз – патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена. См. ниже случай Губермана.

69

Тем не менее в том, что он еврей, он все же признался нескольким вызывавшим его доверие людям, в том числе немецкому пастору-фельдфебелю.

70

А. Шнеер обратил внимание на то, что славянские идентичности брались лишь тогда, когда военнопленный-еврей не имел ярко выраженных еврейских черт.

71

Д.Б. Ломоносов сообщает о еврее-москвиче Михаиле, попавшем в плен летом 1944 г. Выучив в эвакуации узбекский язык, он и назвал себя при регистрации Михаилом Ходжаевым, узбеком. Бывшие в лагере настоящие узбеки говорили с ним по-узбекски и не выдали его (Ломоносов 2000, № и: 68).

72

До дня побега 4 ноября 1943 г. он проработал в шталаге Белая Церковь фельдшером Конжаровым. См. его письмо И.Г. Эренбургу от 10 мая 1944 г., отправленное с фронта в Румынии (Советские евреи 1993: 135–136).

73

Несколько таких случаев описаны в книгах А. Шнеева: например, истории Елены Воротчик и Якова Мейлаха, Ванды Можейко и Исаака Ривкинда, Неонилы Чистюхиной и Константина Ахиезера (Шнеер II: 190–195).

74

Зауряд-врач – формально не доучившийся медик, как правило, выпускник 4-го курса мединститута.

75

Еще один случай: Давид Яковлевич Гелевский, жил и работал под вымышленной фамилией Иван Андреевич Пустовой, что само по себе стало препятствием для получения им гуманитарного урегулирования из Германии (см.: Букалов 1996:157).

76

К сожалению, попытки восстановить источник записи пока ни к чему не привели.

77

Ряд таких случаев описывает и А. Шнеер (2003:185–196).

78

Интересно, что напрямую автор не называет ни национальности Минца, ни обстоятельств, вызвавших появление его псевдонима: место выхода этих воспоминаний в свет – 1980 г., г. Новозыбков Брянской области – по-видимому, не располагало к этим «деталям».

79

Объективности ради отметим, что ряд его сообщений о характере и размахе руководимой им подпольной работы едва ли могли хоть как-то соответствовать действительности.

80

Эта деятельность в лагере помогла ему пройти через послевоенную фильтрацию без осложнений.

81

Он, в частности, оказывал помощь участникам побегов (обувью, задержкой доклада о побеге и т. п.). Во главе подпольной организации в этом шталаге стоял Степан Павлович Злобин, впоследствии описавший эту деятельность в романе «Пропавшие без вести».

82

Во главе гражданской администрации в Одессе был поставлен профессор Георги Алексяну.

83

Благодарю Г. Кляйна, любезно указавшего на это фундаментальное издание, базирующееся

на материалах Военного архива Румынии. Сведения без указания источника в данном подразделе восходят к этой публикации.

84

Для сравнения: англо-американских пленников было 1100 чел.

85

Небольшая коллекция, посвященная советским военнопленным в Румынии, имеется в Российском государственном военном архиве. Это фонд 1512 «Румынские концлагеря для советских военнопленных», состоящий из одной описи и 40 единиц хранения. Материалы, датированные временем с 1941 по 1944 г., охватывают следующие 12 номерных румынских «шталагов», но и их список все же несколько отличается от сети, описанной румынскими историками: № 1 – Слободзия-Ялоница; № 2 – Фельдиора-Брашов; № 3 – Галац (лагерь Индепенденца, или «Независимость»);

№ 4 – Васлуй; № 5 – Тирасполь (Бессарабия);

№ 6 – Дорнешты; № 7 – Бельун (Бессарабия);

№ 8 – Болград (Бессарабия); № 9 – Вулкан;

№ 10 – Александрия;

№ и – Тирасполь (Бессарабия); № 12 – Тимишоара.

86

Это обстоятельство, равно как и отсутствие большого лагеря Будешти в официальном перечне румынских лагерей, а также то, что в январе-феврале 1942 г. всех уцелевших к этому времени начали спешно вывозить из Будешти в Австрию, т. е. в Рейх, заставляет задуматься, а не являлся ли этот лагерь частью не румынской, а немецкой транзитной инфраструктуры для военнопленных, даром что на румынской территории?

87

О том, как начальство лагеря Фельдиора готовилось к таким посещениям, см. в упомянутом «Акте».

88

Это подтверждается и данными финских архивов, в частности, Военного архива (см. в письме М. Янзена Н. Малышевой и А. Войкову от 29 августа 2003 г.).

89

Существенно все же заметить, что такого рода передачи касались не только евреев, но и других военнопленных. Общее количество переданных составляло около 2958 чел. (см.: Spiegel. 24.11.2003. № 48).

90

Первая партия состояла из 7 человек, при этом известны имена трех из них: это парикмахер и «агитатор» Залман Кузнецов, преподаватель марксизма-ленинизма и полковой комиссар Александр Малкис и др., портной и «агитатор» Хаим Ошеревич Лев.

91

См. ниже в настоящем издании в новелле об А.С. Вигдорове, чей «случай» оказался на удивление хорошо задокументированным.

Арон Шнеер, Павел Полян

Голоса жертв (Об этой книге)

## 1. Императив полной правды

Плен – неотъемлемая часть любой войны. Плен – это трагедия человека, лишенного свободы, подвергаемого унижению. Однако трагедия советских военнопленных во Второй мировой войне не имеет аналогов в военной истории. По отношению к ним нацистская Германия проводила геноцид.

Это книга незатухающей боли и Памяти. Настоящими авторами этой книги являются те, кто победил смерть в нацистском плену, а затем пережил унижения и дискриминацию в советских лагерях, кто вынужден был молчать долгие десятилетия, так как государство, солдатами которого они были, не нуждалось в их шокирующе неудобной для советской системы правде.

И вот – бывшие пленные рассказывают о себе, о своих товарищах и своих спасителях, о предателях и об убийцах. Рассказывают о том, как это было на самом деле. Их голоса и их судьбы, явленные в воспоминаниях, письмах и интервью, собранных в этой книге, приблизят нас к пониманию и их личной трагедии, и трагедии всей войны, того горя и тех испытаний, через которые им пришлось пройти.

Среди миллионов советских красноармейцев, попавших в плен, были и десятки тысяч евреев. Их судьба была еще более жестокой и горькой, чем судьба их товарищей по плену.

Печать еврейства на их лицах была их смертным приговором. Спасение виделось им только в побеге, но в действительности лишь немногие евреи, совершившие побег из лагеря, могли надеяться на спасение. Источники красноречиво свидетельствуют о самом активном сотрудничестве местного населения с новой властью. В документах сообщается, что «...крестьяне доносят старостам и немецкой комендатуре о появлении незнакомого человека на дороге или в селе» (Архив Яд Вашем. М-37/569. Л. 25). Однако если подобное поведение крестьян касалось вообще всех чужаков, появлявшихся в том или ином месте, то на евреев велась настоящая охота, повсеместная и ожесточенная.

Исай Яковлевич Подольский, скрывавшийся под именем Анатолия Тросницкого, – это имя осталось с ним на всю его жизнь, – в письме из США рассказывает о том, что при выходе из окружения он две недели прожил в одной крестьянской семье. Он задает себе вопрос: «А если бы знали, что я еврей, помогли бы?» И сам отвечает: «Я думаю, что нет. И вот почему. Ночью, когда я лежал на печи, в хату зашел еще один окруженец, явный еврей по внешности. Парень был контужен, хватался руками за голову и нечленораздельно мычал. Я слышал, как хозяин сказал жене: „Той на пичи наш хлопец, а цей жид. Накорми его и пусть идет с богом“. И парня выпроводили на верную гибель. Моя нетипичная внешность помогла мне» (Архив Яд Вашем. Отдел Праведников мира. Д. 8917).

Местные полиция и жители сел и городов вылавливали, предавали и передавали немцам, а нередко и сами убивали евреев-окруженцев или бежавших из плена евреев-солдат. Но,

конечно, были и местные жители, которые, рискуя собственной жизнью, евреям помогали.

Отношение к евреям стало пробным камнем на человечность и порядочность. Причем эти категории по-разному понимались даже в одной семье.

Яков Полищук рассказывает, как всю зиму 1941 г. в селе Зазымнем укрывала его простая украинская женщина баба Акулина: «Я помогал ей по хозяйству. Сын ее Прокоп в селе был полицаем. Он частенько наведывался к матери: „Жидочка ховаешь, прииде и на него час“. И однажды она сказала мне: „Тоби треба уходиты, вин знае, кто ты“» (Шнеер II: 243–244).

Замечательный русский поэт Семен Липкин, во время войны военный корреспондент, не был в плену, но в окружении был. На войне он – с первых ее дней: Кронштадт, Ленинград, Дон<sup>1</sup>. На Дону и попал в окружение. Группку из 8-10 человек выводил Липкин: выбирались, проходя по казачьим станицам. Плен миновал поэта, но смертный еврейский страх – нет:

«Было страшно, мне особенно. Я сделал себе удостоверение с армянской фамилией Шахдинарьянц. Это был мой школьный учитель химии, с такой фамилией. Вошли в станицу, зашли в хату... Хозяин хаты говорит мне: „Сдается мэни, шо вы з жидив“. – „Нет, я армянин“. – „Вот прииде жинка, вона скажэ“. Пришла хозяйка. И пока она смотрела на меня, двумя руками приподнимая свои груди, у меня внутри все дрожало. И она сказала: „Вирменин!“ ...» (семейный архив С.И. Липкина; см.: Нерлер 2003: 32).

Однако находились и те, кто, рискуя собственной жизнью, помогал бежавшим евреям-военнопленным.

В спасении Семена Сотникова, попавшего в плен в 1941 г. и бежавшего из Симферопольского лагеря, приняли участие несколько семей: Малышко, Рублевых, Руденко и их дети. Его скрывали в погребе, а затем в течение двух лет в деревне Кактагай неподалеку от Симферополя (Карточка спасенного. 2 января 2002 г. Предоставлена в отдел Праведников мира Благотворительным еврейским центром «Хесед Шимон»).

За оказание помощи военнопленным немецкие власти расправлялись с населением. Так, в местной газете г. Проскурова «Украинский голос» 25 октября 1942 г. было опубликовано сообщение: «21 октября 1942 г. перед немецким судом в Проскурове за поддержку бежавшего военнопленного были осуждены украинки: 1. Надя Галас, рождения 1907 г. – к смерти; 2. Вера Соловей, рождения 1909 г. – к смерти; 3. Мотя Заяц, рождения 1912 г. – к 5 годам тяжелой тюрьмы. Все три жительницы села Печески, Проскуровского района. Вышеупомянутые лица дали убежавшему военнопленному приют на ночь, накормили его и снабдили документами и одеждой, не сообщив об этом никому. Приговор приведен в исполнение 22 октября 1942 г. Знайте, что поддержка неизвестных лиц тяжело преследуется» (Архив Яд Вашем. М-37/1200. Л. 20–21).

Почему же, несмотря на угрозы смерти, находились люди, помогавшие бежавшим военнопленным?

Причины и мотивы помощи военнопленным вообще и евреям-военнопленным в частности на оккупированной территории были различными.

У многих, оказывавших помощь военнопленным, сыновья, мужья, родственники служили в Красной Армии. Ведь и они могли оказаться в подобном положении – бежать из плена, скрываться, и спасители верили, что и их близким кто-то так же поможет.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и идеологические мотивы: патриотизм, ненависть к оккупантам, участие в движении сопротивления. Однако чаще не идеология, а человеческое сострадание, неподвластные никакому научному анализу доброта и порядочность руководили спасителями.

Помощь оказывалась как совершенно чужими людьми, так и близкими, знакомыми, если скрывавшиеся приходили в родные места. Нередко приют беглецам оказывали женщины, оставшиеся без мужей, ушедших на фронт. Таких приймаков в селах так и называли «зятя», «зятки». Неоднократно спасала евреев-военнопленных и всепобеждающая сила любви, не знающая национальных предрассудков. Любви таких, как Тамара Баранцева, Неонила Чистюхина и других, чьих имен и фамилий мы, к сожалению, никогда не узнаем.

Тех, кто спасал, было много, – но в сотни раз больше было тех, кто если и не убивал сам, то предавал, обрекая на смерть.

Лишь незначительному числу евреев-военнопленных после побега удалось либо найти убежище, либо добраться до партизанских отрядов, либо, перейдя линию фронта, после трудных проверок вернуться в армию.

После окончания войны судьбы многих бывших советских военнопленных сложились трагически. Освобожденных из плена – даже тех, кто сохранил в плену честь и достоинство, кто не изменил присяге, – вместо торжественной встречи, наград и компенсации за физический и моральный ущерб, как это было во многих западных странах, ожидали лагеря, недоверие и клеймо предателя на многие годы.

И о том, как сложилась их жизнь после освобождения, читатель узнает из их рассказов в этой книге.

Даже когда бывшие военнопленные в 1956 г. после XX съезда КПСС получили возможность публиковать свои воспоминания, они не могли сказать всей правды. Цензура строго следила за тем, чтобы авторы воспоминаний следовали законам советской идеологии и писали лишь о героическом поведении и сопротивлении советских военнопленных в плену.

Для воспоминаний, да и для всей художественной литературы советского периода, рассказывающей о плене, характерно, как говорил Варлам Шаламов, «обязательно изобразить „устоявших“». По его же словам, «это тоже вид растления духовного» (цит. по: Шрейдер 1993:216). «Все, что идет с недомолвками, в обход, в обман – приносило, приносит и принесет только вред», – писал Варлам Шаламов в письме Александру Солженицыну в ноябре 1962 г. (Там же, 205).

В работе над книгой мы руководствовались этими словами.

## 2. Источники к теме

Научная и мемуарная литература, специально посвященная отношению Рейха к взятым вермахтом в плен военнослужащим-евреям – гражданам различных стран из антигитлеровской коалиции не слишком обширна.

Применительно к советским военнопленным-евреям основополагающей, бесспорно, является статья Шмуэля Краковского «Судьба еврейских военнопленных советской и польской армий», опирающаяся, помимо литературных, также и на архивные источники, главным образом, американские, польские и немецкие (материалы процессов над нацистскими преступниками) (Krakowski 1992).

Большинство крупнейших американских исследователей Холокоста или продефилировали мимо этой темы, или, как Рауль Хильберг, уделили ей непропорционально малое внимание, ограничиваясь несколькими случайно подобранными фактами и необычайно общими

рассуждениями (см., например: Hil-berg 1999: 352–357; это какая-нибудь четверть процента от объема его капитального труда!).

Весьма скромную роль играла эта проблематика и в исследованиях немецких историков. В основном они соприкасались с ней, рассматривая предысторию и историю таких важнейших предвоенных приказов Гитлера, как приказ «Барбаросса» от 13 мая и «Приказ о комиссарах» от 16 июня 1941 г.

Точно так же на периферии исследовательского интереса оказалась эта тема и в СССР. Даже в «Черной книге», составленной В. Гроссманом и И. Эренбургом еще в годы войны, но впервые вышедшей на русском языке только в 1980 г. (Черная книга 1980: 437–442), трагедия евреев-военнопленных представлена фактически всего лишь двумя очерками – свидетельствами М. Шейнмана и В. Резниченко (Резниченко 1993; Шейнман 1993). Несколько беглых или косвенных свидетельств как бы наудачу появлялись в 1950–1970-х гг. (Голубков 1958; Голубков 1963; Бондарец 1960; Воронин 1970; Барвинок, Евселенский, Пустовойт 1979 и др.). Часть этих материалов была собрана воедино и републикована в сборнике «Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944)», выпущенном в Иерусалиме в 1991 г. (Уничтожение евреев 1991).

В то же время весьма любопытно и, разумеется, не случайно, что в книге И.А. Дугаса и Ф.Я. Черона «Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным», написанной представителями «второй эмиграции» и выпущенной в Париже в 1994 г., проблематика военнопленных-евреев начисто проигнорирована (Дугас, Черон 1994:118–121).

Ценнейший материал, буквально по крупицам собранный в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске (ЦАМО), содержит сборник «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной Армии», выпущенный Ф.Д. Свердловым в серии «Российская библиотека Холокоста» (Свердлов 1996). Скупые строки политдонесений из войск, выдержки из показаний местных жителей и допросов немецких военнопленных, акты смешанных военно-гражданских комиссий отложились, в частности, в документации политотделов Красной Армии. Они содержат множество свидетельств о еврейском геноциде на территории СССР, в том числе и самые ранние, созданные еще до формирования в 1943 г. Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК).

Отдельные мемуарные свидетельства (в частности, выдержки из воспоминаний С.И. Анваер и др.) были опубликованы в первом издании монографии П.М. Поляна «Жертвы двух диктатур» (1996). Однако сама проблематика, связанная с советскими военнопленными-евреями, была затронута в ней лишь мимоходом. Во втором издании монографии (2002) этому посвящена уже отдельная глава, озаглавленная «Карательная политика Рейха на Востоке: военно-полевой Холокост» (Полян 1996; Полян 2002:83–91). К сожалению, непропорционально малой и вторичной оказалась глава «Евреи-военнопленные» и в фундаментальной монографии И. Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941–1945» (Альтман 2002).

Зато в 2000-х гг. воспоминания и другие эго-документы уцелевших военнопленных-евреев или их нееврейских товарищей стали появляться гораздо чаще. Ограничимся здесь всего двумя указаниями: на книгу Бориса Соколова «В плену» (Соколов 2000) – своего рода «энциклопедию плена» и на книгу самой Софьи Анваер «Кровоточит моя память...» (Анваер 2005). Обе они восхищают одновременно аналитическим и литературным талантом авторов.

Целый ряд важнейших свидетельств был опубликован и во 2-м томе двухтомной монографии Арона Шнеера «Плен», выпущенной в Иерусалиме в 2003 г. (Шнеер I–II; во 2-е – сокращенное



– издание этого труда в 2006 г. соответствующие разделы не вошли). Они восходят как к коллекциям Яд Вашема, так и к разысканиям и собранию самого автора.

Укажем также на неопубликованные воспоминания «Бороться и жить» Юрия Андреевича Силенчука (1906–1974), детальные сведения о которых и даже глубокий их филологический анализ (невероятно, но факт!) уже публиковались (Понсов 1992; Михеев 2005а; Михеев 2005б; нам об этом источнике сообщил голландский коллега К. Беркоф). В начале войны инженер-капитан Силенчук служил в Белокоровичах в 5-м укрепрайоне, в августе был взят в плен, бежал, добрался до Киева и Днепропетровска, где, скрыв свою идентичность, устроился переводчиком к серьезному немецкому чину. Работал с ним и в Сталино, а при приближении Красной Армии подался в партизаны, а потом (в марте 1944 г.) перешел к своим, зачислившим его после поверки в штурмовой (читай: штрафной) батальон.

В настоящем издании мы опираемся на целый ряд дополнительных, ранее не учитывавшихся источников. Прежде всего это – интервью, письма и другие сообщения самих бывших советских военнопленных, как евреев, так и неевреев, с которыми нам удалось установить личный контакт. Большую помощь в установлении этих контактов оказала г-жа С. Вылканова из франкфуртского отделения Claims Conference, по нашей просьбе обратившаяся к бывшим военнопленным-евреям с предложением связаться с нами. Более 20 бывших советских военнопленных-евреев зарегистрированы при Московской ассоциации узников фашистских концлагерей. Кроме того, нами учтена и небольшая выборка из базы данных переживших Холокост (USHMM, Data Base Survivors) в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне.

Другой ценный источник – трофейная немецкая картотека на умерших советских военнопленных, в частности, на офицеров и на рядовых, хранящаяся в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске (ЦАМО) (подробнее см.: Ильенков, Мухин, Полян, 2000). Слухи о ее существовании в СССР ходили среди историков плена уже сравнительно давно. Однако долгое время они базировались исключительно на косвенной или «глухой» информации<sup>2</sup>.

Один из пишущих эти строки (П. Полян) имел самое непосредственное отношение к «проверке» этих слухов и открытию этих картотек для историков (в том числе и немецких), а также к введению их данных в научный оборот. Первая успешная попытка подтверждения самого факта существования и уточнения режима использования картотек была предпринята им в середине 1990-х гг. в рамках архивно-поисковой темы по заданию Нижнесаксонского Центра политического образования. В 1997 г., благодаря этим усилиям, а также при официальной поддержке полковника В.В. Мухина, возглавлявшего в то время Историко-архивный и Военно-мемориальный Центр Генерального штаба Вооруженных сил РФ, удалось добиться доступа к указанным картотекам и сопутствующим материалам, в том числе и для немецких коллег Р. Келлера и Р. Отто.

Публичное введение картотек в научный оборот состоялось в 1997 г. на конференции «Трагедия военного плена в Германии и СССР, 1941–1956» в Дрездене, где с докладами об этом выступили В.В. Мухин и П.М. Полян. Со временем увидели свет и две параллельные публикации, содержавшие научное описание и оценки объема обеих трофейных картотек (Keller, Otto 1998; Ильенков, Мухин, Полян 2000).

В середине 1990-х гг. П.М. Полян сформулировал и высказал саму идею объединения усилий немецких и российских историков, с одной стороны, и финансовых ресурсов заинтересованных организаций различных немецких земель – с другой, для осуществления совместного проекта по научному освоению картотеки. И такой пилотный совместный проект, поддержанный Немецко-российской исторической комиссией, действительно был запущен в 1999 г.: он называется «Советские военнопленные в немецких руках (офицеры): 1941–1945» и посвящен офицерской картотеке ЦАМО<sup>3</sup>.

Ранее полагали, что среди 550–600 тыс. персональных карточек на военнопленных-евреев быть не могло и, стало быть, не было (Марьяновский, Соболев 1997:29). Но, по мере сканирования и обработки карточек в рамках названного проекта, обнаружилось, что в картотеке встречаются и евреи – прежде всего те, кто с самого начала заявил свою подлинную национальность или же те, кого немцы разоблачили. Серьезным подспорьем в нашей работе оказались выборки о евреях-военнопленных из офицерской картотеки ЦАМО, предоставленные нам в течение 2003 г. Р. Келлером и К.-Д. Мюллером (сначала частичная, на 35 чел., а потом и полная – примерно на 360 чел.)<sup>4</sup>.

Что касается финского плена, то немало ценного содержат немногочисленные воспоминания советских военнопленных – как еврейских, так и других (Дьяков 1991; Янтовский 1995; Головин 2003)<sup>5</sup>.

Замысел этой книги претерпевал определенную эволюцию.

Первоначально составители намеревались собрать в ней, систематизировать и обобщить все известные им на данное время эго-документы военнопленных-евреев – их воспоминания и дневники, интервью с ними или очерки о них во всей полноте.

Однако, когда такая книга была собрана, оказалось, что материала, вопреки ожиданиям, накопилось на несколько томов. Рукопись пришлось сократить в 2 раза. Столь радикальное сокращение объема было процедурой небезболезненной. Попытка отобрать самые «лучшие» материалы и дать своего рода «хрестоматию» по теме не удалась в силу совершенного отсутствия критериев качества отдельного материала.

Практически единственным критерием стал принцип первопубликации. На этом основании из корпуса исключены тексты из «Черной книги» (1980), из сборника «Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943–1966» (1993), из книги «В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца» (1999), многочисленные материалы из 2-го тома монографии А. Шнеера «Плен» (2003) и пространные фрагменты из книги воспоминаний С. Анваер «Кровоточит мое сердце» (2005). Полный перечень выпущенных текстов приводится в Приложении 3.

Принцип эдиционной новизны соблюдается, впрочем, не строго: для изданий тиражом всего в несколько сот или десятков экземпляров сделано исключение (Кацперовский 2003; Литовский 1995).

Таким образом, настоящее издание являет собой собрание неизвестных или малоизвестных эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям. Каждый документ рисует внутреннюю перспективу их трагических судеб и создан или непосредственно ими самими, или же с их участием и помощью. Подавляющее их большинство публикуется впервые, некоторые написаны по просьбе составителей или же записаны самими составителями специально для настоящего издания. Большинство заголовков также принадлежит составителям.

Композиционно книга делится на две части: одна посвящена немецкому плену, другая – финскому (материалы о румынском плене не были выявлены). Первая часть состоит из трех разделов, вторая же, вобрав в себя и стихи, внутреннего деления не имеет. В каждом разделе различные материалы выстроены строго по алфавиту персонажей. Источники текста каждого из материалов приводятся в первом же подстраничном примечании к их заглавиям.

Первый и самый объемный раздел первой части составили воспоминания и дневники<sup>6</sup>. Если воспоминания И. Бружеставицкого и В. Кацперовского являются тематическими извлечениями из их более крупных мемуарных комплексов, охватывающих практически всю их сознательную жизнь, то тексты И. Тартаковского и Н. Фишмана сосредоточены именно на проблематике пребывания их авторов в плену. Каждый материал этого раздела снабжен

небольшим поясняющим предисловием.

Второй раздел составили около двадцати небольших материалов – писем, документов, интервью и заметок. Письма самих военнопленных-евреев – как военной поры, так и написанные сравнительно недавно – сочетаются в них с письмами их родственников, пересказывающими их рассказы или рассказы других очевидцев об их судьбе, а также с документами, характеризующими, как правило, уже послевоенные эпизоды их реинтеграции в жизнь на родине. Некоторые обстоятельства жизни персонажей этих материалов, опущенные в них самих, восполняются в минихарактеристиках, часто – в виде указания на время нахождения в плену.

В третьем разделе представлены свидетельства советских военнопленных-неевреев о страшной судьбе их товарищей – евреев-красноармейцев. В этих описаниях сквозит и возмущение происходящим, и сочувствие к еврейским жертвам, порою смешанное с ужасом от того, когда мемуаристы вдруг представляют и себя на месте подвергаемых издевательствам и зверскому убийству. Принцип первопубликации на данный раздел, ввиду его уникальности, не распространяется.

Во второй части собраны различные воспоминания о пребывании советских военнопленных-евреев в финском плену<sup>7</sup>. Крупные воспоминания (в частности, М. Волынца и Л. Раскина) сочетаются в нем со сравнительно небольшими материалами. Но в раздел включены – и даже открывают его! – два стихотворения одного из таких людей – архитектора Соломона Шура, личности совершенно незаурядной. Этого человека и его спасительные «колхозы» в Лоуколампи с благодарностью и почтением поминали в большинстве текстов о финском плене. Не соприкоснулись с ним всего трое – С.В. Тиркельтауб, попавший в плен в декабре 1941 г. на о. Ханко, М.М. Волынец – разведчик, попавший в плен незадолго до заключения перемирия с Финляндией и Ц. Леечкис – женщина-военнопленная.

В приложения, кроме перечня материалов, не вошедших в книгу, вошли таблица подлинных имен и псевдонимов, использовавшихся советскими военнопленными-евреями в их попытках спастись, списки военнопленных-евреев, находившихся в плену у финнов и переданных финнами немцам, а также данные о советских военнопленных офицерах – евреях, почерпнутые из трофейной офицерской картотеки в Центральном архиве Министерства обороны России в г. Подольске.

Тексты печатаются с сохранением орфографии подлинника. Купюры или конъектуры показываются скобками. Пунктуационные ошибки и опечатки исправляются без оговорок.

Составители сердечно благодарят всех своих «авторов» – бывших военнопленных, чьи произведения или материалы вошли в книгу, – И.Е. Азаркевича, П.П. Астахова, М.И. Бенционова, Н.А. Бондарева, И.М. Бружеставицкого, А.С. Вигдорова, М.М. Волынца, Д.И. Додина, В.Е. Кацперовского, С.Я. Кригера, И.С. Кубланова, С.А. Орштейна, Л.Я. Простермана, Л.З. Раскина, Ю.Б. Раунштайна, Э.Н. Сосина, С.В. Тиркельтауба и Н.А. Фишмана. Увы, некоторые из них не дожили до выхода этой книги...

Отдельная признательность – Н.Л. Поболю, чья разносторонняя и щедрая помощь была ощутима на всех этапах работы, а также И.А. Альтману, К. Беркофу, С. Вылкановой, Ж.А. Гольденфельд, Н.Т. Жуковой, С.А. Ильенкову, Р. Келлеру, В.И. Кононову, К.-Д. Мюллеру, Р. Овермансу, Д. Полю, И. Рабин, Г. Рейзману, Ф. Ремеру, Л. Терушкину, Н.Н. Фишер и М. Цымберову за содействие в отдельных вопросах. Особая благодарность С.С. Бурыкиной, без которой настоящее издание не смогло бы выйти в свет.

Примечания

1

Семен Израилевич имел боевые награды – орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда».

2

Интересно и удивительно, но статья О.Ю. Старкова «Они не сдались», посвященная теме побегов советских военнопленных из плена и базирующаяся на этой картотеке (Старков 1989), осталась практически незамеченной (в том числе и нами).

3

Эту реконструкцию реальных событий приходится приводить здесь в силу странно избирательного, но необычайно последовательного замалчивания руководителями проекта К.-Д. Мюллером и Р. Отто усилий и роли российской стороны в становлении этого проекта. В многочисленных устных и письменных презентациях промежуточных результатов проекта вышеперечисленные усилия, к сожалению, или замалчивались, или давались в сознательно искаженном свете. В обоснование такой политики К.-Д. Мюллер не постеснялся привести и такой «аргумент»: проект начинается лишь тогда, когда на него получены деньги. При столь специфической этической базе проекта, даже щедрое его финансирование со стороны немецкого государства не предохранило проект от весьма низкого качества его главного продукта – сканирования подольских картотек и занесения их информации в электронную базу данных. Это привело к трениям, а затем и к конфликтам между самими участниками проекта: в 2005 г. от участия в проекте был фактически отстранен Р. Отто, в 2006 г., вместе с Р. Келлером, публично заявивший о разрыве отношений с К.-Д. Мюллером.

4

Ссылки на эту базу данных в работе даются следующим образом: ЦАМО, № (где № – номер отсканированного изображения).

В настоящее время техническая обработка офицерской картотеки ЦАМО завершена, и коллеги приступают к сканированию карточек солдатской картотеки. Согласно концепции проекта, полученные результаты со временем должны стать доступными исследователям в ряде учреждений Германии и России. Перечень российских учреждений нуждается в обсуждении.

5

См. сведения о них также в архивах Фонда «Холокост» и материалах собрания Г. А. Хольного (Москва).

6

Единственный известный нам дневник еврейского военнопленного (А.Вейгмана) – довольно поздний, начатый только в 1945 г. и характеризующий лишь заключительную фазу войны и самое начало послевоенного мира (Шнеер II: 292–298). Видимо, о ведении дневника в более раннее время, собственно говоря, просто не могло быть и речи.

7

Эго-документы о пребывании евреев-военнопленных в румынском плену составителям неизвестны, если не считать сообщения З.А. Зенгина о том, что в Николаевском лагере охранниками были не немцы, а румыны. Кстати, есть свидетельства о советских

евреях-военнопленных в Норвегии, но там полностью, хотя и своеобразно, хозяйничали немцы.

## Принятые сокращения

АГ – айнзатцгруппа (Einsatzgruppe)

АК – айнзатцкоммандо (Einsatzkommando)

ВИЖ – «Военно-исторический журнал», Москва

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, Москва

ГАСК – Государственный архив Ставропольского края, Ставрополь

ГФ ПОБ – Германский фонд «Память. Ответственность. Будущее»

ЗК – зондеркоммандо (Sonderkommando)

МИД – Министерство иностранных дел СССР

МККК – Международный комитет Красного Креста, Женева

НАРБ – Национальный архив Республики Беларусь, Минск

НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности

НСДАП (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeitspartei) – Национал-социалистическая рабочая партия Германии

ОКВ – Верховное командование вооруженных сил Германии (OKW: Oberkommando der Wehrmacht)

ОКХ – Верховное командование сухопутных сил (OKH: Oberkommando des Heeres) ПО – партнерская организация

РГВА – Российский государственный военный архив, Москва

РСХА – Имперская служба безопасности (RSHA: Reichssicherheitsamt)

РФВП – Российский фонд «Взаимопонимание и примирение»

СД – Служба безопасности при СС (SD, Sicherheitsdienst der SS)

СС – Охранные отряды национал-социалистической рабочей партии Германии (SS, Schutzstaffel der NSDAP)

ЧГК – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, Москва

ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ, Подольск

ВАВ – Bundesarchiv, Berlin

BA-MA – Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg

JCC–International Claims Conference, New York

IfZ – Archiv des Institutes für Zeitgeschichte, München

USHMM – United States Holocaust Memorial Museum, Washington

Часть первая

В немецком плену

Воспоминания и дневники

Израиль Моисеевич Бружеставицкий (Бружа)

Война – плен – репатриация. Из записок директора музея[1]

Израиль Моисеевич Бружеставицкий родился 20 июля 1922 г. в Мелитополе. Среднюю школу окончил в Симферополе. В 1939–1941 гг. учился в ИФЛИ, с 9 августа 1941 г. – в Красной Армии. В составе 147-й стрелковой дивизии 62-й армии воевал на Сталинградском фронте (радист и заместитель политрука роты), и августа 1942 г. в районе Калача-Суровикина попал в окружение и был взят в плен. Документы уничтожил, национальность скрывал. Значился под именем Леонид Петрович Бружа. После двух месяцев в дулагах на советской территории был отправлен в Германию и с 23 октября 1942 г. находился в шталаге IV В в Мюльберге и других лагерях в Саксонии.

После освобождения войсками 1-го Украинского фронта снова был призван в армию и снова служил радистом (и вновь под своим настоящим именем). Как студент вуза, он был демобилизован уже в октябре 1945 г. В 1949 г. окончил истфак МГУ и распределился в Тверь. До выхода на пенсию в 1983 г. работал в сфере культуры: в 1967–1978 гг. – директором Калининского областного краеведческого музея, в 1978–1983 гг. – генеральным директором Калининского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея. Умер 9 апреля 2006 г.

В 1993–1998 гг. Бружеставицкий работал над собственными «Воспоминаниями бывшего директора музея (1967–1983)», в которых подробно описал перипетии плена. С помощью сына «Воспоминания» были набраны и отмакетированы как книга. Экземпляры «Воспоминаний» хранятся в семье, а также в Тверском областном архиве, областном музее, областной библиотеке и в отделе рукописей Государственного литературного музея (г. Москва).

Павел Полян

Война

Я долю свою по-солдатски приемлю. А. Твардовский[2]

В воскресенье 22 июня 1941 г. я сидел в читальном зале в институтском корпусе на Ростокинском проезде в Сокольниках, готовился к экзамену по всеобщей литературе, читал «Дон Кихота» Сервантеса. На его 189-й странице (запомнил ее на весь свой век) закончилась мирная жизнь.

Об этом объявила нам девушка-библиотекарь. Мы бросились к ближайшему репродуктору, прослушали повтор выступления Молотова и, разумеется, оставили книги в сторону. В институте в воскресенье было пусто. Не было ни администрации, ни руководителей парткома, комитета ВЛКСМ, профкома. Что было делать? И мы, группа приятелей, решили поехать в центр Москвы. Там ничего определенного понять мы не могли, потому пошли в кинотеатр «Ударник» и посмотрели какую-то кинокомедию. Вечером общежитие бурлило, все собирались на фронт, чтобы в течение двух-трех недель покончить с коварным врагом.

23 июня утром во дворе ИФЛИ состоялся общеинститутский митинг, в заключение которого мы все с энтузиазмом спели «Интернационал», будучи твердо уверенными, что «это есть наш последний и решительный бой». А во второй половине дня нас уже выселяли в разные места из Стромьинского общежития, где намечалось развернуть госпиталь. Я с товарищами попал в какую-то школу на Тетеринском переулке в районе Таганки, т. е. на другой конец Москвы.

Любопытная деталь: во дворе общежития на Стромьинке стоял небольшой отдельный дом, в котором находилась камера хранения. Большинство ребят сдало личные вещи в нее. И те, кто вернулся живым после войны, получили свои вещи целехонькими. Я же, имея какие-то связи в Москве, развез мои вещи на хранение, частично к деду, частично к Вере Михайловской. Вернувшись в 1945 г., я не нашел ни одной вещички – ни пальто, ни костюма, ни белья, ни одной книжки. То ли они были брошены моими близкими при эвакуации, то ли проедены – не знаю. Ответа я не добивался.

Начало войны совпало с окончанием летней экзаменационной сессии. Некоторые парни шли нахально без всякой подготовки на экзамен, и патриотически настроенные умиленные профессора ставили им пятерки. А мне представлялось все это безразличным, и я последние два экзамена сдавать не пошел, за что и поплатился в 1945–1946 гг., восстановившись в Университете. За мной числилась академическая задолженность, и ее надо было погашать – через четыре военных года.

В числе моих комсомольских поручений на 2-м курсе ИФЛИ было обучение радиodelу,

сперва в районной организации ОСОАВИАХИМа (мы все были его членами), а затем в Московском городском Доме радиолюбителя на Сретенке. К началу войны я был довольно обученным радиотелеграфистом и 9 августа 1941 г. вместе с другими воспитанниками Дома радиолюбителя вступил добровольцем в Красную Армию. Мы были зачислены в 1-й Московский запасной полк связи курсантами. Полк размещался в казармах на ул. Матросская Тишина в Сокольниках. Это название улица получила, кажется, еще при Петре I, а теперь знаменита тюрьмой. Призыв наш потом был оформлен через соответствующие райвоенкоматы (мой – Сокольнический). Кстати, к тому времени я получил повестку на призыв из райвоенкомата, кажется, на 11 августа, но предпочел определение в Кр. Армию по имеющейся уже воинской специальности.

Как узнал я после войны, всех тех студентов, которые были призваны в середине августа 1941 г. через райвоенкоматы, направили в военные училища. В частности, мой сосед по комнате в общежитии и однокурсник Миша Гофман окончил ускоренный курс артиллерийского училища и погиб на фронте в 1944 г. Другой однокурсник, Г. Каневский, не сумевший преодолеть трудности радиотелеграфного дела, не пошел с нами в связисты, а был направлен военкоматом тогда же в пехотное училище, закончил войну капитаном, начальником оперативной части полкового штаба, вернулся в 1945 г. с большим числом орденов и медалей, которые обязательно надевал, идя на экзамены. Покалеченным, инвалидом

1-й группы вернулся с войны подполковник Лев Якименко, даже получил комнату в основном корпусе МГУ на Моховой; нас, своих довоенных товарищей, не очень привечал. Как ни странно, из восьми жильцов нашей студенческой комнаты № 36 шестеро пережили войну; все, кроме Ю. Левитанского, возвратились доучиваться в Университет, куда снова влился ИФЛИ. Процент погибших ифлийцев и студентов аналогичных факультетов МГУ был значительно выше, чем в нашей комнате. Пути военные неисповедимы!

В начале июля студентов ИФЛИ, остававшихся в Москве, направили на рытье противотанковых рвов под Смоленск или на военные заводы, многих – на Авиамоторный № 24. Я тоже был туда записан, но попал на «скорой» в больницу с острым приступом холецистита. &lt;...&gt;

Ночью 3 июля в больничной палате в радионаушниках раздался голос СТАЛИНА: «Братья и сестры, друзья мои!» Еще сильнее захотелось скорее на фронт. Когда вышел из больницы, начались – с 22 июля – еженощные с 22 часов бомбардировки Москвы. И новый образ жизни – либо ночью дежурство по очереди на крыше школы, откуда довелось сбросить с десятков зажигательных бомб, либо сидение в примитивном «бомбоубежище» – в подвале школы. Вскоре мы узнали, что такие бомбоубежища опаснее пребывания на поверхности, и после объявления воздушной тревоги оставались спать в комнате. Несколько ночей, когда гостил у деда, провел в туннеле метро станции «Дзержинская». В конце июля сфотографировался с двумя товарищами по курсу и комнате и один снимок отправил родителям. По этой фотографии мать узнала в эвакуации офицера М. Гофмана, находившегося на излечении по ранению в госпитале, в котором она работала швеей. Позднее он погиб.

8 августа 1941 г. накануне ухода в Красную Армию отправил домой в Симферополь почтовую открытку в патриотическом стиле, сообщал о своем решении добровольно вступить в Кр. Армию. Это была последняя весточка от меня моей семье до лета 1945 г. Вскоре Крым был отрезан фашистскими войсками, связь с семьей прервалась. Как я узнал после войны, мои друзья по двору в Симферополе, все моложе меня и потому не призванные на военную службу, при приближении немцев все ушли в партизаны. Часть их погибла. Мой друг детства и соперник за лидерство во дворе Леня Иванин, смелый парень, баянист, вернулся из партизанского отряда без одной руки, стал агрономом.

В Симферополе фашисты расстреляли мою старенькую бабушку, приехавшую на лето



погостить к моим родителям, вместе с нею расстреляли ее старшую дочь – сестру моего отца с 10-летней дочкой. Они не захотели поехать в эвакуацию с моей матерью и моим младшим братом, которых успел отправить отец с семьями персонала военного госпиталя, куда он был назначен помощником начальника по хозяйству. Там же, в Крыму, отец погиб на фронте осенью 1941 г. Обо всем этом я узнал после войны.

Конец моих предков не первый раз был трагическим. Родителей моей матери – беспомощных стариков – во время Гражданской войны убили петлюровцы при еврейском погроме в местечке Черный Остров недалеко от гор. Проскурова (ныне гор. Хмельницкий) на Украине. И в глубине веков мои предки гибли от рук фанатиков и грабителей, вынесли адские мучения, но в цепи поколений породили и меня.

Я после войны ни разу не побывал в Симферополе, хотя и собирался – страшно было взглянуть на родное пепелище. Связь с друзьями детства и соучениками утратил. Теперь, на старости лет, сожалею об этом.

Утром 9 августа 1941 г. нас привезли на станцию метро «Сокольники» и доставили в полк. Там сразу остригли наголо, отвели в баню, обмундировали и определили в 1-ю роту 3-го батальона, в котором готовили младших командиров[3] полевых радиотелеграфных станций. Первым делом учили наматывать портянки и управляться с обмотками. Сапоги были только у средних командиров, старших сержантов (помощников командиров взводов) и старшин. Состав наш был пестрым: добровольцы из Дома радиолюбителя, уже выполнявшие нормативы радистов 2-3-го классов, молодые новобранцы, запасники в возрасте. Некоторые не имели даже неполного среднего образования и потому не были пригодны к профессии радиотелеграфиста, в которой надо быть минимально грамотным и обладать начальными знаниями физики. Я – из студентов – оказался одним из самых грамотных. Был, правда, среди нас и мужчина повзрослее с высшим образованием, инженер-железнодорожник. Ему слон на ухо наступил, радиотелеграфист он был никудышный, неоднократно подавал рапорт о направлении его в железнодорожные войска, но неизменно получал отказ. В числе курсантов оказался и кадровый сержант, механик-водитель танка, вышедший из окружения. И его не отправляли в танковую часть, хотя был острый дефицит танкистов. Таков был установившийся давно «порядок» в армии, где каждому начальнику было наплевать на общие интересы. Как правило, гражданские специальности красноармейцев не учитывались. Исключение составляли шофера.

Физически я был слаб, мне тяжелее, чем другим, давались физическая и строевая подготовка, полевые тактические занятия. В этом отношении я был в числе последних. Но как радиотелеграфист был лучшим, так как обладал острым слухом, знал хорошо физику в объеме программы средней школы и потому быстро разобрался в основах радиотехники. Я был прилично обучен приему и передаче радиogramм на уровне специалиста 2-го класса. Такое вот противоречие.

Сразу же без выборов был назначен комсоргом роты. Но, увы, этого испытания я не выдержал. Вел себя по отношению к товарищам как дополнительный командир, требовал, как и начальство, дисциплины и вскоре потерял популярность. Через месяц на выборах тайным голосованием меня прокатили. Это был мне суровый урок на будущее – с товарищами надо быть товарищем, а не строить из себя начальника. И хотя я все еще оставался идейно прямолинейным и сверхчестным, я становился требовательнее к себе и терпимее к товарищам.

Служба в 1-м Московском запасном полку связи была трудной. Днем нагрузка как у всех. Строевая, физподготовка, полевые тактические учения, изучение уставов, оружия, радиотехники, радиотелеграфирования, дежурство дневальным (сутки), в карауле (сутки). Но особенно тяжелы для радистов были ночи. Каждую ночь немцы бомбили Москву; курсанты всех остальных специальностей бежали по тревоге спать в щели, выкопанные нами же, а

радиотелеграфисты отправлялись в радиоклассы тренироваться в приеме и передаче радиogramм. И так каждую ночь почти не спали, а днем – никаких скидок. Очень были изнурены.

Весь август хорошо кормили, водили в бывшую гражданскую столовую за пределами части. Горожанам сперва порции казались слишком большими, и мы их не доедали. Но через месяц и кормить стали хуже (Белоруссия и Прибалтика были оккупированы фашистами уже полностью, Украина – более половины), и усиленная физическая нагрузка требовала усиленного питания. Впервые появилось чувство голода. Настроение среди красноармейцев было все же бодрым, несмотря на тяжелые неудачи на фронтах вопреки первоначальным надеждам на быструю победу. Конечно, рассказы немногих фронтовиков, попавших в полк после ранений или выхода из окружения, радости не добавляли.

Для курящих (я тогда курил) начались трудности с табаком. Табачный паек в тылу не полагался. Денег у большинства не было, чтобы купить папиросы или махорку (они еще свободно продавались). Снабжение с каждым днем ухудшалось. Особенно недовольны мы были тогда, когда мясо заменяли рыбой – соленой горбушей или кетой. Кто предполагал, что горбуша и кета станут деликатесом? А осенью 1941 г. они нам надоели предельно.

Несколько раз меня навещали мои однокашницы по ИФЛИ, возвратившиеся с рытья окопов под Смоленском. Приносили гостинцы – папиросы и печенье.

Наступил октябрь. Немцы были уже недалеко; в начале октября они прорвали наш фронт под Вязьмой и быстро приближались к Москве. От нашего батальона снарядили две авторадиостанции и прикомандировали к противотанковым истребительным батальонам на Волоколамском направлении. Меня с несколькими товарищами из числа выпускников Дома радиолюбителя, как уже обученных, включили в экипаж передвижных радиостанций, снабдили сухим пайком – концентратами супов и каши. С ними я познакомился впервые, как и с консервированным зеленым горошком, который мы купили в сельском магазине. Таков был мой примитивный жизненный опыт, хотя мне пришлось в свое время прихватить начало голода на Украине, карточную систему в первой половине 30-х годов. В этот раз, когда в Москве ввели карточки, я был уже на военной службе.

Командовал авторадиостанциями ст. сержант Морозов, текстильщик, призванный из запаса. В боях участвовать мы не успели, нас отозвали и в полном составе передали в отдельную роту связи при штабе Московского военного округа.

Памятные дни 15–16 октября 1941 г. Наши две автомашины двинулись по приказу к железной дороге, кажется, в район Курского вокзала. В городе царил паника. Толпы обезумевших людей грабили магазины и склады. Им никто не препятствовал. Другие строили на улицах баррикады. Третьи – их были многие тысячи – пытались бежать из Москвы. Среди бегущих, видимо, было и какое-то начальство на легковых автомашинах (частных легковушек тогда практически не было). Везли домашние вещи на грузовиках, на ручных тележках, на велосипедах, тащили на себе. Просились, а то и нападали на автомашины. Пытались влезть и в наши военные автомашины (а мы присоединились к военной автоколонне), но мы были вооружены и отбивались прикладами винтовок и карабинов. Было жалко детей и стариков, но приказ был строг: никого из гражданских и чужих в военной форме в машины не допускать.

На железной дороге наши машины въехали по трапу на открытые платформы и в составе воинского эшелона поехали на восток, как потом оказалось, в гор. Горький. В пути, особенно поначалу, эшелон часто останавливался, и тогда его осаждали толпы беженцев-москвичей. Но никого – ни стариков, ни женщин, ни детей, мы взять не имели права. Командование эшелона следило за этим внимательно и проверяло каждый вагон, платформу, машины не только на остановках, но и в пути. Мы все же спрятали в нашей авторадиостанции женщину с 5-летней девочкой и довели их до Горького. Но молодых мужчин с целыми руками и ногами в

толпах беженцев мы не жалели, даже ненавидели.

Наш эшелон бомбил и обстрелял из пулемета немецкий самолет. Эшелон остановился; по команде мы рассеялись на ближней лесной опушке и стреляли безуспешно по самолету из винтовок и зенитных пулеметов. Выяснилось, что в эшелоне все же везли немало гражданских, которые тоже выбежали из вагонов. Когда самолет улетел, объявили, что убит машинист. Среди красноармейцев нашелся машинист и вместе с оставшимся в живых помощником повел эшелон дальше. Но на этот раз начальник эшелона разрешил погрузить ехавших в эшелоне гражданских – это были женщины с детьми – с тем, чтобы на первой же станции они оставили поезд. Но на конечной станции в Горьком из эшелона выгрузилось много тех же женщин и детей. Солдатское сердце – не камень!

Расположилась наша отдельная рота связи в Нижегородском Кремле в здании явно невоенного типа, а на боевое дежурство на стационарной радиостанции в штабе округа мы ходили куда-то в город. Впрочем, штаб практически радиосвязью не пользовался, его обслуживали проводной телеграф и телефон. Связисты там были из гражданских профессионалов высокой квалификации, только надели на мужчин и женщин военную форму. Хотя они, как и мы, были рядовыми, их особо оплачивали и лучше кормили, что, конечно, было правильно.

&lt;...&gt;

Несколько месяцев тыловой службы при штабе МВО в Горьком пролетели быстро. Горький немцы бомбили даже днем. Однажды бомбежка застала нас в бане. Мы только намылились, как раздались сирены и гудки воздушной тревоги, и сразу же отключили воду. Намыленные мы просидели в бане часа два, пока не закончился воздушный налет и не возобновили подачу воды. Быстренько домывшись, мы строем с песней вернулись в Кремль. Вот такое происшествие задержалось в памяти, а более важное выветрилось.

&lt;...&gt;

В конце первой декады декабря в штабе разнеслись слухи об успешном наступлении Красной Армии под Москвой, а через несколько дней мы услышали сообщение «От Советского Информбюро» о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. В начале февраля 1942 г. Штаб МВО возвратили в Москву, а часть персонала отправили по строевым соединениям. Нас, пять бывших курсантов 1-го Московского зап. полка связи, направили под командой мл. сержанта Морозова в 147-ю стрелковую дивизию, формировавшуюся на территории Татарской АССР. Штаб ее находился в райцентре Кукмор, куда надо было добираться на попутных гражданских поездах с пересадками на ст. Канаш и в Казани. Ехали мы с приключениями неделю. В Казани силой вломились в мягкий вагон. Билеты по воинским требованиям были закомпостированы военным комендантом, но это ничего не значило. В переполненные поезда новых пассажиров проводники пытались не допускать. Но мы прорвались и ехали в коридоре. Проводница была неопытной, на этой дороге работала впервые и то ли от незнания, то ли в отместку за наше нахальство высадила нас на полустанке за 20 км от Кукмора. Пока мы разобрались, поезд ушел. Переночевали у гостеприимного путевого обходчика и следующим утром двинулись пешком по железнодорожным путям в 30-градусный мороз.

В штабе дивизии нас разделили по разным полкам. Морозова оставили в отдельном батальоне связи, Козина (тульский оружейный мастер по дурацкому обычаю служил радистом) – в 615-й стрелковый полк, двух малолеток 1924 г.р., москвичей, окончивших в 1941 г. среднюю школу и курсы при Доме радиолюбителя, – в 640-й СП, а меня – в 600-й СП. Выяснилось, что в батальоне связи и в полковых ротах связи все командиры отделений и начальники радиостанций – наши сослуживцы по 1-му Московскому запасному полку связи. Полк в октябре 1941 г. был эвакуирован куда-то на Урал, там курсантов доучили, присвоили

им звания мл. сержантов и сержантов и разослали в соединения, которые формировались для отправки на фронт. Только мы, наиболее обученные, прикомандированные к штабу МВО, так и остались рядовыми.

В 600-м СП я был определен в радиовзвод, в отделение к своему бывшему сослуживцу мл. сержанту Гурееву. Отношения с ним сложились хорошие. Командир роты лейтенант С. был мой одноклассник из Смоленска, окончил среднюю школу в 1940 г. и ускоренный курс военного училища связи. Так как он прибыл в дивизию в начале ее формирования, то сразу был назначен командиром полковой роты связи, а командирами взводов у него стали старшие лейтенанты, правда, призванные из запаса. Командир роты был очень самолюбив, чувствовал, что слишком молод и неопытен, не находил общего языка с подчиненными, большинство которых были старше его по возрасту. Он не мог простить мне моего образования, поэтому относился ко мне неприязненно. Но у меня вдруг оказался сильный покровитель – политрук роты, по званию ст. политрук, татарин.

Дивизия формировалась из местного необученного населения. Новобранцы были лет сорока, кадровую службу не проходили. Большинство составляли татары, затем удмурты, марийцы, чуваша. Многие плохо владели русским языком, что вносило дополнительные трудности в боевую подготовку. Русских было мало, в основном присланные специалисты – связисты, артиллеристы и т. п. Фронтовики, имевшие боевой опыт, в дивизии были единицы. Командовал дивизией полковник-фронтовик. Обучали стрелковые подразделения интенсивно, но бестолково, на деревянных муляжах винтовок. Лишь у нас в роте связи у всех бойцов, кроме специального оборудования, были карабины – несомненная заслуга нашего энергичного командира роты.

При таком качестве обучения и таком составе боевая ценность дивизии была близка к нулю, что и выяснилось летом на фронте. Достаточно сказать, что до отправки на фронт учебные стрельбы были проведены только один раз в мае, в лагерях близ Коврова, куда была переведена дивизия для принятия вооружения. Каждому дали по три патрона, минометчикам и артиллеристам соответственно по три мины и три снаряда на миномет и орудие. Вот и вся стрелковая подготовка.

Известно, что в Красной Армии связь была слабым местом и с самого начала войны являлась одной из основных причин наших поражений. К радиосвязи командование относилось с недоверием, на это действительно существовали веские основания. Радиостанций было мало, конструкции их устарели, они были очень тяжелы, радиус действия передатчиков мал. Шифровальное дело в дивизиях было ниже всякой критики, специалистов не было (в Горьком, в Кремле находилось военно-шифровальное училище; я попытался поступить туда, но наш престарелый командир отдельной роты связи Штаба МВО отказал мне – мол, заменить нечем). Поэтому радистов чаще всего использовали как дополнительных телефонистов. Тут особого искусства не требовалось – беги с двумя тяжелыми катушками с толстыми проводами да кричи в трубку полевого телефонного аппарата.

Проводная связь во фронтовых условиях тоже была ненадежной, часто под обстрелом обрывалась, и телефонисты несли большие потери при восстановлении обрывов. Тем более нас, радистов, снимали с радиостанций и посылали восстанавливать телефонную связь. В учебном процессе это учитывалось, и радисты, как всегда, несли двойную нагрузку – к занятиям по радиоделу добавляли занятия по телефонной связи. А телефонистов, естественно, радиоделу не обучали.

Наша отдельная рота связи 600-го стрелкового полка в период формирования и обучения размещалась в каком-то деревянном бараке в деревне, похоже – в бывшем клубе, так как длинный зал заканчивался большой эстрадой. На ней установили пирамиды для оружия и поставили несколько письменных столов для командиров. Оттуда же вели занятия. Чуть ли не на третий день после моего прибытия в роту меня избрали ротным комсоргом (кстати, и

комроты был комсомольцем). Но на сей раз я уже не строил из себя дополнительного начальника и во всех отношениях был таким же рядовым, как и все, отказавшись от малейших привилегий.

А через неделю все-таки стал маленьким начальником. Меня усадили за письменный стол и поручили исполнять обязанности писаря. По штату в роте связи писаря не полагалось, и до меня над бумагами корпели сам командир роты и командиры взводов. А бумаг было поразительно много – ежедневные отчеты о личном составе, болезнях, наличии и движении имущества, о ходе боевой и политической подготовки и т. д. и т. п. Взвалив на меня бумажную канитель, командиры облегченно вздохнули. И стали все звать меня писарем. Каждый день рота отправлялась на тактические занятия в поле, где, несмотря на конец зимы и начало календарной весны (шел уже март), стояли 30-градусные морозы. При нашем обмундировании они были весьма чувствительны. Я, однако, в поле выходил очень редко, по уши загруженный бумажной волокитой. И что удивительно, никто мне не завидовал – бумаги для большинства (а они были малограмотны) казались страшнее морозов.

В конце марта или начале апреля вдруг был получен приказ за подписью командира и комиссара дивизии: мне было присвоено воинское звание заместителя политрука роты, равнозначное званию старшины, и я был назначен на эту должность. Видимо, представление сделали политрук и командир роты, последний, думаю, с неохотой. И стали называть меня теперь не писарем, а замполитом. Мне поручили вести все политзанятия и занятия по уставам, в то же время не освободили от писарских обязанностей. От тактических занятий, кроме маршевых бросков, я был освобожден. Пошло ли это мне на пользу? Не уверен. Нацепил я на петлицы по четыре треугольника; комиссарских звезд я не носил, так как их просто не было. Поэтому незнакомые принимали меня за старшину. Заменили мне ботинки с обмотками на хромовые сапоги, теплую шинель из грубого русского сукна на более легкую и красивую, но холодную, из тонкого английского сукна. Назначили мне месячный оклад в 150 р. как старшине 3-го года службы, хотя я служил еще меньше года. Появились деньги на покупку махорки (20–30 р. за стакан), которую я, естественно, раскуривал не один, а совместно с товарищами. Красноармейская зарплата была 4 р.

Питались мы плохо, было голодно. Хлеба давали по 600 гр., жиров почти не было, на ротной кухне воровали повара и наряды, командирам вылавливали побольше мяса. Испортил я отношения с командирами после того, как, возглавив наряд на кухню и пекарню, запретил выдать пришедшему ординарцу сверх нормы хлеб и мясо из общего котла для командиров. И составу наряда не дал уворовать ни хлеба, ни мяса, и себе не взял. Более меня на кухню не посылали. От столования с командирами я отказался, питался наравне со всеми красноармейцами. Большинство их как раз не голодало, так как почти каждому приносили что-то жены и другая родня, жившая относительно недалеко. Местные не страдали от отсутствия табака – родственники снабжали их самосадом. Пока мы оставались в Татарии, от ребят и мне перепадала какая-то подкормка – отношения с ними у меня сложились товарищеские.

Во второй половине апреля полки сосредоточили, погрузили в теплушки и отправили в воинские лагеря в 20 км от г. Коврова (в ту пору Горьковской, ныне Владимирской области). Ковров был крупным центром оборонной промышленности. Здесь дивизию укомплектовали вооружением. В полки передали более современные переносные радиостанции, в дивизионный батальон связи – автомобильные. Боевая подготовка продолжалась. Как я уже писал, один раз состоялись учебные стрельбы; показатели были очень плохими. У меня, например, был значок «Ворошиловский стрелок», полученный еще до войны, но за стрельбу из малокалиберной винтовки. А теперь, как все, я впервые стрелял из карабина. В Московском полку связи тоже сэкономили патроны, мы тренировались в прицеливании в классе на специальном приборе – равноценно обучению плаванию на берегу. В Ковровских стрельбах из моих трех выстрелов лишь два угодили в край мишени, один был послан, как говорили в армии, «в молоко». У других результаты были еще хуже. Но повторно

тренировочных стрельб не проводили. Было немного и хороших стрелков – из охотников. Автоматами ППШ и ППД были вооружены только подразделения разведчиков.

В Ковровских лагерях мы голодали. Хлеб (600 гр.) выдавали утром в роте; пока строим шли в полковую столовую, на ходу съедали всю дневную пайку. На обед и ужин хлеба не оставалось. Небольшие порции пшенной или перловой каши без жиров на завтрак и ужин, жидкий суп или щи и незначительное второе на обед не могли насытить мужчин, на которых навалилась тяжелая физическая нагрузка. Очень страдали без курева. Отпрашивались в увольнительную в Ковров, где на рынке меняли на махорку-самосад выданные нам 100-граммовые брусочки хозяйственного мыла. Родня была теперь далеко, и подкормки не было ни у кого.

Изнуряли учебные марши, особенно ночные. К обычной выкладке бойца у связистов добавлялось специальное заплечное оборудование. Я вдвоем с напарником тащил на себе по половине радиостанции, каждая упаковка по 15 кг. Общий вес груза у радиста достигал 40 кг (скатка, карабин, три гранаты, запас патронов, противогаз, вещмешок со всеми личными вещами, малая саперная лопатка и т. д.). Марш – на 50 км. Привалы – через 15 км. Часть пути – бегом, часть – ускоренным шагом. Было тяжело, а от меня, как от замполита, требовали еще, чтобы я поддерживал боевой дух у красноармейцев и... развлекал их. Но развлекать я не умел, и командир роты был мной недоволен. Командиры на марше шли, конечно, без груза, а командир роты ехал верхом на лошади. Поистине конный пешему не товарищ!

&lt;...&gt;

В середине мая, после поражения наших войск под Харьковом и в Донбассе, нашу дивизию погрузили в эшелоны и направили на фронт. Не помню, какими дорогами нас везли. Кажется, мы проехали Воронеж, куда немцы еще не дошли. Несколько раз попадали под бомбардировки с воздуха. Особенно памятна бомбежка на станции Лиски, когда вокруг все горело и укрыться было негде. Сидели в теплушках и ждали, что вот-вот и на нас упадет бомба. На этот раз повезло, нашему эшелону на дальнем пути бомбы не достались. По железной дороге переправились через Дон и заняли 2-ю линию обороны на левом его берегу, километрах в 20 от реки.

Немцы были еще далеко, но мимо нас двигались тысячи беженцев, гнали бесчисленные стада скота. Немцев ощущали с воздуха, все время над нами летали воздушные двухфюзеляжные разведчики «Фокке-Вульф». Мы их называли «рамой» и люто ненавидели. После них обычно прилетали пикирующие бомбардировщики и осыпали нас бомбами. Но потери были пока небольшими, мы вырыли в твердой земле окопы в полный профиль и там отсиживались. Блиндажей не было даже у полкового начальства, вокруг была ровная степь, не видно ни деревца.

Вскоре всех радистов из полков собрали на неделю на занятия в отдельный батальон связи при штабе дивизии. В заключение состоялись соревнования по радиотелеграфированию, на которых я занял 1-е место. Поэтому меня не возвратили в полк, а оставили в батальоне связи. Я имел воинское звание заместителя политрука роты, но вакансий в батальоне не было, и стал я снова рядовым радистом на автомобильной радиостанции дивизионного узла связи. В финчасти батальона разобрались, что я не 3-го года службы, посему оклад мой снизили со 150 р. до 32 р. + 100 % фронтовой надбавки. Но деньги здесь уже не играли особой роли. Нас перевели на фронтовое снабжение, еще, правда, по 2-й категории – без водки. Кормили досыта, было вдоволь мяса, так как вокруг бродили многочисленные стада эвакуированного скота, хлеба лучшего качества давали по 800 гр., при обилии мяса его хватало. Единственный недостаток – три раза в день одна и та же каша – либо перловая (месяц), либо пшенная (месяц). Это было для удобства военных снабженцев. Получили мы и табачный паек – махорку.

Батальон связи расположился не в поле, а на казачьем хуторе. Для машин вырыли глубокие окопы, антенны замаскировали в садах. Местное население – казаки, и без того относившееся к нам не особенно дружелюбно, опасалось, что мы привлечем налеты авиации. Да, остатки казачества нас не любили. Везде были расклеены листовки, требовавшие, чтобы бывшие служащие Белой армии, а также бывшие репрессированные немедленно зарегистрировались в милиции. Они подлежали высылке. А ведь таких среди казаков было большинство. Как-то я разговорился со стариком-«иногородним». Он рассказал, что родом он из Воронежской губернии, но здесь живет с 1911 г., т. е. больше 30 лет, работает вместе с коренными станичниками в одном колхозе, но те все еще относятся к нему как к чужаку. Презирали нас девушки-казачки. По вечерам собиралась хуторская молодежь, парней местных не было – они тоже служили в Кр. Армии, веселились девчата и подростки, подходили и красноармейцы нашего батальона и приштабных подразделений. И редко какая казачка соглашалась танцевать с красноармейцем. Они называли нас неухватистыми, неловкими и еще какими-то своими диалектными прозвищами.

Особенно доставалось нерусским – я уже упоминал, что большинство среди нас составляли татары и удмурты.

Ранее я воспринимал казаков с симпатией через произведения Шолохова, которые я знал и любил. При личном общении убедился, что многие казаки – мужчины и женщины – проявляют себя довольно стержовно. Они не только антисоветски настроены, но презирают всех неказачков, из хозяйской кружки напиток не дадут (староверы?). Тыл Сталинградского фронта на Дону был ненадежен. Позднейшие мои встречи, не только военные, но и послевоенные, подтвердили мое настороженное отношение к казакам, хотя с некоторыми казаками в плену я был дружен. &lt;...&gt;

Июль 1942 г. ознаменовался новыми крупными поражениями советских войск на южных фронтах. В первых числах июля дивизию срочно погрузили в эшелоны и направили в район Воронежа. Однако до места назначения дивизия не доехала. Резко ухудшилась обстановка на Сталинградском направлении. Эшелоны повернули обратно. Включенная в 62-ю армию генерала Колпакчи наша 147-я стрелковая дивизия заняла оборону на правом берегу Дона в районе станции и райцентра Суровикино по реке Чир.

Я в этом движении «туда и обратно» по совершеннейшему случаю участия не принял. Как раз в тот день, когда штаб дивизии и наш батальон были погружены в эшелон, я был назначен дежурным и одновременно начальником караула по батальону связи. Конечно, дежурным полагалось назначить офицера (употреблю этот позднейший термин), а я мог быть начальником караула. По неизвестной мне причине эти обязанности соединили (может быть, вследствие отъезда батальона), вспомнили вдруг о моем звании замполита и сделали такое назначение. И оставили меня караулить до особого распоряжения запасное хозяйственное имущество и запасное оборудование батальона. Под моим командованием оставили девять человек (со мною десять), радиостанцию переносную, восемь лошадей, две повозки и телку. Несколько дней мы охраняли имущество, но неожиданно дивизия проследовала мимо нас в обратном направлении – к Дону. Я на ходу получил приказ пока пребывать на месте. Примерно 16 июля я получил по радио шифровку – приказ прибыть с имуществом, которое можно погрузить на повозки, в батальон. Расположение его было указано. Карты местности у меня не было. Приходилось дорогу спрашивать у населения. Хороша военная тайна!

Теперь мне известно из литературы, что как раз 17 июля 6-я немецкая армия начала наступление на наши позиции на реке Чир в направлении на Сталинград[4].

Утром 17 июля погрузили мы имущество на две повозки, в каждую запрягли по две лошади, на четырех лошадях поехали верховые. К передней повозке привязали за рога телку и отправились в путь. Я был в команде старшим по званию и младшим по возрасту. Оставалось три дня до моего 20 летия. Сколько меня ни уговаривали сержант, мой заместитель, и

красноармейцы, я не соглашался бросить на месте воинское имущество – телку. Она и определила нашу черепашью, то бишь коровью, скорость движения. Глуп, конечно, я был и наивен. Ведь повсюду бродили тысячи голов скота без всякого присмотра, и можно было на месте назначения уловить не одну телку. Но я предполагал, что чем ближе к передовой, тем больше порядка.

Перед отбытием из хутора пришлось все же бросить часть имущества – несколько стогов сена. Мы обменяли его у местных жителей на мед и крестьянский хлеб. Досталось по двухлитровому котелку на два человека, т. е. больше чем по килограмму меда на брата. Тут же мы сели и умяли весь этот мед вприкуску с отличным крестьянским хлебом. И ничего с нами не случилось, даже отрыжки. Попили колодезной водицы и поехали.

До Дона, через который мы должны были переправиться, по ближайшей дороге – 20 км, это до железнодорожного моста. А до паромной переправы километров 35–40. Решили двигаться к железнодорожному мосту, хотя знали, что нас там наверняка не пропустят. Но телка-двухлетка... Для нее и 20 км были непосильны, ведь и за Доном – такое же расстояние до батальона. Но я был тверд и прямолинеен, как телеграфный столб.

Описывать наш марш надо бы юмористу или даже сатирику. Двигались мы медленнее пешехода. Телка шла медленно, вскоре устала, упиралась. Верховые наши подгоняли ее плетью. Дорога была к тому же забита беженцами с западного (правого) берега Дона. Навстречу нам ехали бесчисленные подводы, грузовые машины, в том числе военные, которые отправлялись в тыл за боеприпасами и другими грузами и что-то везли в тыл, шли пешеходы, гнали скот. На санитарных машинах везли раненых. Это была картина народного бедствия. Но мы, хотя и медленно, продвигались вперед.

Часам к 15–16 мы подъехали, наконец, к железнодорожному мосту. Охрана нас, конечно, на мост не пустила. Начальник охраны отругал меня. В сторону фронта прошел воинский грузовой состав с орудиями на платформах. Через минут 20 прошел состав с правого берега. Я опять стал уговаривать капитана. Вдруг, отогнав меня в сторону, он вытянулся в струнку. К мосту подъехало несколько легковых автомашин. В одной из них я узнал Хрущева и Тимошенко. Это было командование Сталинградского фронта[5].

Как только машины проехали, я снова обратился к капитану, обещал ему, что вслед за машинами мы двинемся рысью и ему не придется задерживать железнодорожное движение. У меня, мол, приказ. Я показал ему радиogramму, никем, конечно, не заверенную. Остальные документы у нас были в порядке. И, наконец, он сжалился над нами, учитывая, что до парома километров 20. И пропустил, добавив, что если нас раздавит поезд с одной или другой стороны, то так нам и надо.

Мост был длинный; и вот мы тронулись рысью по шпалам. По настоянию красноармейцев мы перестроились; повозка с привязанной телкой теперь следовала последней. На ней остались только я и повозочный. Другие медленной рысью ехали впереди. Лошади спотыкались о шпалы, повозки трясло, телка со сбитыми копытами, протертыми привязью рогами тоже рысила спотыкаясь.

И вдруг издали навстречу нам показался поезд. Разминуться было невозможно. Верховые и передняя повозка рванули галопом и успели заблаговременно проскочить мост. Мы же с телкой прибавили скорость лишь чуть-чуть. Паровоз беспрерывно гудел, и хотя несколько замедлил ход, но неумолимо приближался. Телка перепугалась, стала громко мычать, рваться в сторону; повозочный нахлестывал лошадей и матерился. Лишь мне одному приходилось сохранять спокойствие. Все же нам удалось проскочить пролеты моста над рекой. К счастью, хотя часть моста над берегом стояла еще высоко, но ограждение кончилось. Мы сумели отвязать телку, и я спрыгнул с нею на землю. Повозочный же дал деру и съехал на берег нормально. Я держал за рога перепуганную телку, не знаю, как хватило



сил. В ту же минуту поезд промчал мимо нас. Машинист высунулся из кабины и обложил меня великим русским языком. Прошло минут 10, телка, наконец, успокоилась – все же она была вполне современной и привыкла к машинам. Мы воссоединились со своей командой, обменялись, естественно, ругательствами и поехали дальше.

Часов в 7 вечера мы добрались до тылового хозяйства нашей дивизии. Здесь над нами посмеялись, приняли от меня по накладной эту проклятую телку, которых у них было теперь целое стадо, и дали мне взамен... кабанчика в мешке. &lt;...&gt;

Как ни странно, телка и кабан помнятся до сих пор, а фронтовые подробности и особенно последовательность событий уже стерлись из памяти – прошло полвека! Помню, что дня три меня и нескольких радистов использовали как телефонистов. Мы с катушками налаживали проводную связь с полками, которые вели тяжелые оборонительные бои с наступавшими немцами и пока держались. В равнинной степи укрыться было негде. Иногда попадались овраги, в которых некоторое время можно было отлежаться в надежде, что туда не попадут снаряды или мины. От пролетавших без конца немецких самолетов, от «рамы» укрывались в несжатой пшенице и кукурузе. Во время дежурства на промежуточном телефоне в открытой степи (нас было трое) снова попали под грозу. Видимо, в телефонный аппарат или в линию, которая шла по земле, угодила молния, нас отбросило метра на три, оглушило, но все остались живы. Благодаря заземлению не был поврежден и телефонный аппарат.

Штаб дивизии и батальон связи при нем ежедневно меняли место расположения. Это особенно вызывало недовольство бойцов. Только успевали вырыть в твердой земле окопы, а мы, радисты, еще и траншеи для авторадиостанций с наклонным выходом, как поступал приказ на марш, мы передвигались на несколько километров и снова рыли землю. Не зная и не понимая общей обстановки, мы все это относили на неорганизованность начальства. К сожалению, ни командир, ни комиссар батальона не утруждали себя разъяснительной работой, действовали только приказом и не пользовались авторитетом у связистов.

&lt;...&gt;

Наша 147-я стрелковая дивизия оказалась в окружении. Но мы, рядовые красноармейцы и младший комсостав, этого не знали. Вполне возможно, что сперва этого не знал и средний комсостав. Во всяком случае, до 7–8 августа дивизия удерживала позиции и паники никакой не было.

Я после телефонных пробежек был направлен на радиостанцию на командный пункт командира дивизии в непосредственной близости к линии передовых окопов. Радиостанция на двух автомашинах разместилась в глубоком окопе, антенная мачта была кое-как замаскирована как деревце. В связи с тем, что телефонная связь под обстрелом все время выходила из строя, наша радиостанция непрерывно работала на связи с основной группой дивизионного штаба, расположенного от нас в трех км в сторону тыла, и с полковыми радиостанциями. Расстояния были небольшими, и поэтому командир дивизии и мы пользовались главным образом радиотелефоном; лишь изредка более важные сообщения и команды передавались шифровкой по радиотелеграфу. Шифровали мы сами по примитивной таблице, которая наверняка не была секретом для противника.

Как-то охране командного пункта и нам удалось винтовочными выстрелами подбить немецкий истребитель, который нагло, на сравнительно небольшой высоте, обстреливал из пулемета командный пункт. Самолет упал метрах в 700 от нас; летчик выбросился с парашютом, но живым до земли не долетел, так как мы продолжали стрелять, опасаясь, что он опустится на территорию, уже занятую немцами. Когда мы добежали до него, он был мертв. И в планшете у него мы обнаружили карту, на которой с абсолютной точностью были отмечены все полки нашей дивизии, расположение штаба и командного пункта командира дивизии. И это несмотря на то, как я уже писал, что штаб каждый день, а то и два раза за день менял свое

расположение. Никакие наши секреты не были тайной для врага! Не знаю, действовала ли агентурная разведка (казаки!), но «рама» все время висела над нашими головами.

И командный пункт, и пути к штабу и батальону связи были под постоянным обстрелом, главным образом минометным. Но круглосуточно туда и обратно ползли по-пластунски связные. Кроме того, надо было кормиться. На командный пункт горячую пищу доставляли в бидонах по ночам на повозках. А радистам и телефонистам от этой доставки ничего не выделяли, давали только воду. Говорили: «приносите сами». И мы, обычно по утрам, по очереди, перебежками, добирались до своего батальона, наедались сами и тащили в закрытых котелках обед товарищам.

В эти дни нам зачитали теперь широко известный приказ Сталина «Ни шагу назад!». Увы, было уже поздно. 7 августа в 615-м полку была разбита последняя радиостанция, погибли и радисты. По этой причине меня и моего товарища еще по Московскому зап. полку связи мл. сержанта Толю Кузнецова нагрузили переносной радиостанцией «РБ» и отправили в 615-й полк. Туда мы добирались под обстрелом, но невредимыми прибыли к вечеру. Оказалось, что двое знакомых радистов – Козин и глуховатый инженер-путеец Стрельцов живы, но все радиостанции разбиты. Телефонной связи с дивизией уже не было. Пришлось немедленно развернуть радиостанцию. Удалось установить радиотелефонную связь со штабом дивизии, который сразу вызвал командира полка. Я передал ему радиотелефонную трубку, а сам вместе с Кузнецовым отошел в сторону. После короткого разговора командир полка подозвал нас и приказал перенести радиостанцию на повозку, поддерживая радиосвязь с дивизией. Был отдан приказ полку оставить позиции и маршем двигаться на восток.

Глубокой ночью полк, вернее, его остатки, сперва строевыми колоннами, двинулся на восток. Небо вокруг нас освещалось осветительными ракетами и трассирующими выстрелами. Мы поняли, что находимся в окружении. Когда рассвело, было приказано идти врассыпную. Вокруг простиралась равнина, дикая степь, реде поля несжатой пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Укрыться было негде. Радиостанцию с повозки пришлось снять, тащить ее на себе. Связи с дивизией все равно уже не было. На повозке повезли раненых. Над нами все время висели немецкие самолеты, обстреливали из пулеметов, бросали осколочные бомбы. Когда самолет был над головой, мы ложились на землю, пока он делал круг, мы вставали и шли дальше. Ряды наши редели. Убитых оставляли, выносить или хоронить их было некому. Раненых везли на еще имевшихся повозках. Те, кто мог, шли сами. Ранило в левую руку Козина, мы перевязали его, он был здоровым мужиком лет 35, шел с нами, не отставая.

Днем было очень жарко, радиостанция, которую мы тащили вдвоем с Кузнецовым, выматывала последние силы. Стрельцова заставили с кем-то в паре нести противотанковое ружье, и он не мог помогать нам. К вечеру переходили вброд какую-то речку, командир радиовзвода приказал нам с Кузнецовым разбить бесполезную теперь радиостанцию и утопить ее в реке, что мы и сделали с облегчением и горечью. Еще днем в жару я бросил скатку (шинель), хотя ночи были холодны. Кузнецов шинель не бросил; он был крепче и практичнее меня. Потом мы с ним вдвоем по ночам укрывались его шинелью.

После короткого привала в ночь на 9 августа прибыли в хутор Жарков (все это в районе Суровикино). По приказу заняли круговую оборону, окопались. В хуторе сосредоточился примерно батальон. Где были остальные, не знаю. Многих штабных офицеров мы уже не видели, исчез и командир радиовзвода. Но командир полка и несколько офицеров были неподалеку и руководили обороной. Когда рассвело, немцы уже настигли нас и повели интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Рядом падали убитые и раненые бойцы, а нас с Кузнецовым ни разу не зацепило. Только один раз поблизости разорвавшийся снаряд засыпал землей и оглушил нас, легко контузив. Но мы все же очухались некоторое время спустя.

9 августа наша оборона еще продержалась. Во второй половине дня 10 августа немцы в

шортах, двигаясь за танками, атаковали нас. Мы трижды ходили в контратаки и остановили противника на какое-то время; единственное противотанковое орудие и противотанковые ружья сыграли свою роль – три немецких танка загорелись. Но у наших артиллеристов и минометчиков боеприпасы кончились. Вообще для них в боях была установлена норма – по две мины на миномет и три снаряда на орудие в сутки – как на учебных стрельбах в Коврове. Практически мы дрались голыми руками.

К вечеру немцы заняли хутор. Вот когда проявилась слабая подготовка нашей дивизии и нестойкость пожилых запасников. Вокруг слышались крики «сдаемся». На наших глазах застрелился командир полка. Мы с Кузнецовым и трое приставших к нам незнакомых красноармейцев, один из них старшина лет тридцати, укрылись в саду (хутор утопал в садах). Вскоре, когда стемнело, выбрались из хутора и пошли на восток. Подошли к дороге, залегли. По ней беспрерывно проезжали немецкие автомашины. Обстановки мы не знали и не догадывались, что немцы уже форсировали Дон и мы глубоко в тылу у них. Все же решили уничтожить свои документы. Я порвал свою красноармейскую книжку и комсомольский билет. А что было делать? В случае плена, а с этим приходилось считаться, мне, как еврею и замполиту, угрожал немедленный расстрел. Вышли бы к своим, надеялись восстановить документы.

Воспользовавшись некоторым перерывом в движении на дороге, перебежали ее и пошли дальше. Прошли километров пять и решили сделать привал в неубранной пшенице. Выставили часового и заснули – ведь несколько ночей не спали. После марша и боя страшно устали.

## Плен

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

Семен Гудзенко[6]

Пробуждение было ужасным – под окрик немецких солдат: «Русс, ауф, хенде хох!» Немцев было трое, видимо, прочесывали округу. Не успели мы схватить карабины – немцы выстрелили, но не в нас, а по окружности. Пришлось подниматься и поднимать руки. Немцы отобрали оружие, обыскали нас и наши вещмешки, в которых ничего ценного не было, и повели. Мы только успели обматерить часового, который заснул, получили удары прикладами и замолчали.

Метров через 300 подвели нас к группе с какими-то знаками отличия на погонах – явно к начальству. Немцы переговорили, и два солдата погнали нас к хутору. Здесь на огромном поле сжатой пшеницы, уже обнесенном колючей проволокой (когда только успели), были собраны тысячи пленных. У входа в этот лагерь приведшие нас солдаты оставили меня в сторону и сказали охранникам: «юде», т. е. «еврей». Но охранники махнули руками и нас всех пятерых толкнули в лагерь. Среди пленных большинство было татар, и, возможно, меня, черноволосого, охранники приняли тоже за татарина. Комиссарских звезд, как я уже писал, на моих рукавах не было, а четыре треугольника на петлицах означали, что начальник я небольшой.

Было раннее утро 11 августа 1942 г. Я пишу эти строки 9-11 августа 1993 г. Прошел ровно 51 год с того страшного утра. Подробности стерлись из памяти. Но сейчас я вновь переживаю то чувство подавленности, страха, позора, которое ощущал тогда. По импровизированному лагерю бродила тьма людей, грязных, обросших, многие в грязных перевязках. Сотни лежали и сидели на земле. Искали знакомых. Нашли знакомых и мы. Здесь были Козин и Стрельцов, мл. сержант Гуреев из 600-го СП, еще несколько радистов из дивизионного батальона связи. Стало ясно, что попала в плен вся дивизия, даже медсанбат полностью.

Из разговоров узнали, что сюда же пригнали некоторых пленных из соседней с нами по фронту дивизии – 33-й гвардейской. Пленные из 640-го СП рассказали, что наши бывшие сослуживцы – радисты, малолетки-москвичи Златопольский и Альтман погибли не то в контратаке, не то были захвачены в плен и расстреляны как евреи сразу же на месте. Сведения были противоречивы. О Златопольском я помнил, что он жил в Москве на ул. 25 Октября (Никольской), а его мать работала на этой же улице провизором в аптеке № 1, так называемой «Ферейновской». После войны, когда я учился в МГУ, недалеко от этой аптеки, у меня не хватило мужества найти мать Златопольского и сообщить ей о гибели сына, тем более что собственными глазами я его гибель не видел. Да и не хотел лишать ее последней надежды. Но многие годы меня мучили сомнения – может, надо было найти ее?

Рассказывали, что командир дивизии, как и командир 615-го СП, тоже застрелился. А о командующем 62-й армией генерале Колпакчи говорили, что он бросил войска и улетел из окружения на самолете. Мы не знали тогда, что с 3 августа армией командовал другой генерал – Лопатин[7]. Что здесь действительно было, что просто слухами – не знаю. В литературе об обоих генералах пишут хорошо, оба командовали и в дальнейшем армиями, стали Героями Советского Союза[8]. Но нашу 62-ю армию летом 1942 г. они погубили, не сумели организовать отступления в боевом порядке. В окружение большая часть 62-й армии попала, видимо, при Лопатине. Та 62-я армия, которая прославилась в Сталинграде под командованием Чуйкова, была уже в другом составе.

Я страдал, как и все мои товарищи, попавшие в плен. Но к этому добавлялся страх разоблачения, что я еврей и политраблотник. Таких расстреливали немедленно. А меня в дивизии знали многие, так как я не раз бывал на общедивизионных сборах комсorghов, замполитов, выступал на митингах. Но в этом первом лагере меня никто не выдал, хотя подходили, здоровались, и только один назвал замполитом и покачал головой.

Поразило нас, что в первый же день среди пленных появились прислужники немцев – полицаи с дубинами (палками) в руках. Они разгоняли группы пленных, не жалея побоев. В числе этих «блюстителей порядка» оказался и наш комиссар батальона связи. Был он, правда, в красноармейской гимнастерке без «шпал» на петлицах и без комиссарских звезд. Он прошел мимо меня, сделав вид, что не узнал, и не выдал меня немцам; думаю, что опасался ответного разоблачения.

Охраняли нас солдаты какой-то тыловой части, так как вооружены были винтовками, а не автоматами, как те, с которыми мы встретились в боях. Охранники были с собаками.

Уже в первый день мы ощущали чувство голода, большинство ничего не ело два-три дня; сухие пайки «НЗ», которые мы таскали в «сидорах» (вещмешках) и противогазных сумках, были съедены еще до отступления. На передовую в последние дни боев питание уже не доставляли. (Противогазы из сумок все без исключения повыбрасывали в первую неделю на фронте, несмотря на строгие приказы.) Стояла жара, мучила жажда, но воды не было. Немцы о нас заботиться не намеревались.

Первая ночь в лагере... Мы лежим на голой земле; на шестерых – две шинели. Нет ни физических, ни нравственных сил, ни надежды. Утром поднимают нас отрывистыми командами на немецком и русском языках (нашлись переводчики). Приказывают строиться в

колонны по шесть в ряд. Выводят из лагеря и ведут километровую колонну на восток, не дав ни поесть хоть что-то, ни попить. Проходим через казачьи хутора и слышим лишь проклятия вслед: «сталинские собаки»; женщины бросали в нас камни и кирпичи. Через 10 км – привал. Наша шестерка (все – знакомые связисты) решила не присаживаться, а идти в голову колонны. Колонна на марше растягивается, задние отстают, их подгоняют плетями и прикладами, далеко отставших тут же пристреливают. Охраняют колонну верховые немецкие солдаты и пешие солдаты с собаками. Им помогают новоиспеченные полицаи.

На первом привале удалось, наконец, напиться – остановились у какой-то мелкой речки. Котелки и кружки есть не у всех; побросали вещмешки в боях и при отступлении. Набирают воду в котелки и каски, пьют по очереди из котелков и кружек, многие из пилоток. Приходится быть осторожным, чтобы не удрали с твоим котелком. Передвигаться внутри колонны на привале немцы не препятствуют.

Через полчаса поднимают и снова гонят на восток. К середине дня подогнали к Дону. Видим, что немцы и на левом берегу, их машины идут сплошным потоком. По пути к Дону к нашей колонне присоединяли такие же длинные колонны военнопленных. У Дона колонну осмотрело какое-то высокое начальство в черной форме, видимо, «СС». После этого колонну повернули кругом и погнали на запад. Мы очутились в середине колонны. Я все время шел в середине ряда, товарищи прикрывали меня от пристальных взглядов конвоиров. Теперь уже длина колонны – не менее пяти километров. Снова привал у знакомой речонки. Напиваемся и, не присаживаясь, идем ближе к голове колонны. В этот день прошли в общей сложности 50 км. Немецкие конвоиры сменялись, отдыхали в автобусах, шедших впереди и позади колонны. А военнопленных никто не жалел. В казачьих хуторах снова нас проклинали и забрасывали камнями и кирпичами.

Последующие дни были такими же: марш на 50 км, один раз – на 70 км. Но стали «кормить» – выдавали в день по кружке сырой нерушенной пшеницы. Ее грызли как могли, но она выходила с испражнениями непереваренной. Нужду справляли только на привалах, которых за день было не более трех, как правило, на берегу какой-нибудь речки или ручья. Тогда и пили. Фляжек почти ни у кого не было, большинство котелков было открытыми, без крышек, да у многих и котелков не было, так что воду с собой несли немногие и делились ею только в обмен на курево, которого тоже не было у большинства. У дороги (все дороги – грунтовые) валялись раздутые конские трупы; некоторые пленные не выдерживали, вырезали перочинными ножами (их пока не отобрали) куски и поедали их сырыми. Это был яд, и потребители трупов вскоре погибали, но все равно у них находились последователи. Голод быстро превращал людей в озверелых животных.

Наша небольшая группа и еще несколько групп знакомых ребят старались держаться вместе, на привалах надолго не садились, только перематывали портянки и сразу шли вперед, в голову колонны, чтобы не отставать далеко на марше, не бежать потом, как это приходилось делать уже с середины колонны. Ночью не разувались, опасаясь, что обувь украдут. Вот когда мы поняли пользу тренировок в Ковровских лагерях. Никто из нас не натер ноги, не отстал.

Иногда дорога проходила через поля неубранной пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Тогда из колонны выскакивали пленные и успевали что-нибудь схватить: горсть колосьев, початок кукурузы, головку подсолнуха. Удача сопутствовала только первым смельчакам; в последующих стреляли, и они оставались лежать памятью беды на родной земле. Дорога шла уже не через казачьи хутора, а через русские и украинские слободы. Отношение населения резко изменилось. Вдоль колонны стояли плачущие женщины, старики и дети, пытались передать пленным что-нибудь из еды – кусок хлеба, несколько вареных яиц или картофеля, яблоки, груши, кисет с самосадам. Конвойные кричали, избивали и пленных и женщин, но это никого не останавливало. Стрелять в населенных пунктах немцы не решались.

Вели нас с неделю и привели в город Миллерово. Вели, видимо, окружным путем по большой дороге, поэтому так долго. За городом на огромной поляне, частично опоясанной холмами, был устроен под открытым небом сборный лагерь военнопленных. Он был оцеплен колючей проволокой; через каждые метров 200 была установлена сторожевая вышка, на которой дежурили часовые с пулеметом. Никто не считал, сколько здесь было собрано несчастных советских солдат. На наш взгляд – тысяч сто. Лагерь был разделен на две части оградой из колючей проволоки. Во внутренней ограде было оборудовано пять проходов; в них стояли пять котлов, из которых десять здоровенных полицаев из пленных же выдавали питание: пол-литра баланды из нерушенной пшеницы и на десять человек килограммовую буханку хлеба с примесями.

Порядок был такой: из неокормленной половины проходили через эти проходы, получали баланду в котелок, каску или пилотку; ее наливали большими черпаками по очереди в выставленные емкости, и никто, конечно, не измерял, чтобы досталось пол-литра; кому-то попадало больше, кому-то меньше. Но особая беда была с хлебом. Отсчитывали по головам десять человек, последнему вручали буханку. И нередко бывали случаи, когда получивший буханку удирал в толпу, а его сотоварищи по десятке оставались без своей пайки. Мы спасались тем, что все время старались держаться вместе с группой знакомых связистов из 147-й СД. Не единожды в день толпы пленных пытались прорваться через ограду или проходы из «накормленной» половины лагеря в ненакормленную, чтобы еще раз пройти мимо раздатчиков. Кому-то это удавалось. Но, как правило, сразу же по толпе с вышек следовала пулеметная очередь и десятки людей падали убитыми или ранеными. А через час-другой история повторялась. Оголодавшие люди шли на верную смерть в надежде ухватить еще еду.

Так проходил день за днем. «Покормившись», мы слонялись по лагерю. А в лагере уже процветало «предпринимательство», главным образом – меновая торговля. Некоторых выводили из лагеря в город на какую-нибудь работу – обычно грузить или разгружать грузы на станции. Работники разживались кое-чем и потом в лагере меняли еду на вещи – гимнастерку, шинель, сапоги. Я не раз получал предложения сменять мои хромовые сапоги, но пока держался. Вовсю шла карточная игра. Карты были в большинстве самодельные: на кусках картона были нарисованы карточные фигуры и знаки, а обратная сторона оклеена советскими рублями. Один раз мы с Тол ей Кузнецовым решили сыграть, поставив на кон пайку хлеба, но сразу же проиграли ее и в этот день довольствовались каждый половиной пайки. Больше мы в карты не играли.

В лагере и на воле в обращении еще были советские деньги, но немцы вводили уже оккупационные марки. Не помню точно, как ходили советские деньги. Помню лишь, что с левой и с правой стороны Днепра в ходу были различные советские купюры: в одной части только 1-3-5-10 р., с другой – 30 р. и выше. Но так как для вольных общение между правобережной и левой стороной на определенных условиях допускалось, то, кажется, в первое время в торговле принимались все купюры. Спекулянты на этом наживались. Впрочем, нас это мало касалось. В Миллерове и других лагерях, где пришлось побывать, деньги не ценились совсем, ценились только продукты и вещи.

Наша группа потеряла Козина. На одном из ночных привалов, еще до Миллерова, он с двумя красноармейцами бежал. Увы, на второй день в Миллерове мы увидели, что их привели избитыми до полусмерти и поместили не в общий лагерь, а на холм, где держали главным образом евреев, обреченных на расстрел. Больше мы Козина не видели.

В Миллерове мы впервые встретились с разделением по национальности: отдельную часть лагеря заняли татары; они претендовали на покровительственное отношение со стороны немцев. Из их числа в первую очередь выбирали полицаев. Как-то мы с Кузнецовым подошли к группе татар, но те, обнаружив, что я не понимаю их языка, отогнали нас тотчас же. Между тем в лагере уже начали искать евреев и комиссаров. Делали это немцы в сопровождении

полицаев из пленных, но в Миллерове особенной тщательности не проявляли и ко мне ни разу не придрались.

Еще одна деталь: издавна товарищи называли меня «Бружа», укоротив фамилию. Эта кличка прицепилась ко мне и переходила со мной из школы в ИФЛИ, из ИФЛИ в Кр. Армию, в Кр. Армии из части в часть, потом в плен и, по существу, превратилась в фамилию. Сперва это не имело особого значения, но важно, что никто в плену меня в первые месяцы не называл ни по имени, ни по настоящей фамилии. В первых лагерях не было никакой регистрации пленных. Если выводили из лагеря на работу, то просто считали по головам.

В Миллерове мы пробыли дней десять. В конце августа наша группа (теперь пять человек, без Козина) попала в строй пленных, которых якобы вели на работу на железнодорожную станцию. В действительности нас загнали в товарные вагоны, выдали по пять сырых картошек, которые мы съели сразу же, хотя и с отвращением. Вскоре состав тронулся, и нас повезли. Сколько дней провели в пути – не помню.

Привезли нас в Харьков, в тюрьму на Холодной горе. Здесь нас набили битком в камеры так, что трудно было передвинуться, чтобы пробраться к параше. Утром парашу выносили по очереди, которую устанавливали более сильные для слабых. Днем выгоняли на тюремный двор. Ежедневно выкликали: «Нефтяники, столяры, шахтеры и т. п. есть?» Все откликались на ту специальность, которая спрашивалась. На самом деле шахтеров вели разгружать вагоны с углем, нефтяников – бочки с горючим и т. п. Один раз мы попали в группу «столяров», и погнали нас выламывать в каком-то помещении паркет. Рвались все на работу потому, что от наших вольных всегда что-нибудь перепало: еда, немного махорки. Русские люди и украинцы нас жалели.

Кормили и в этом лагере – выдавали по куску макухи – подсолнечного жмыха или баланду из жмыха. Грызли жмых и немного насыщались, так как в нем содержалась какая-то доля подсолнечного масла. В этом лагере я наконец-то расстался со своими хромовыми сапогами. Несмотря на длинные марши, они, благодаря подковам, были еще в хорошем состоянии. В обмен я получил солдатские подкованные ботинки без обмоток, целую гимнастерку взамен моей дырявой (прожег я гимнастерку, заснувши у костра за несколько дней до плена), двухлитровый котелок баланды, буханку хлеба и три котелка огуречных очисток. Еду мы разделили на пятерых, и всех нас от огуречных очисток одолел понос на целый месяц.

В харьковской тюрьме мы пробыли несколько дней. В начале сентября всех пленных выстроили в шеренги и вдоль них стали ходить полицаи из своих, выискивая евреев. Немцы стояли в стороне. Определяли евреев по внешности и по неотъемлемому признаку – обрезанной крайней плоти. Остановился молодой полицай возле меня: «Спускай штаны». Я ответил ему: «У меня мать татарка, так что я обрезанный». Стоявшие рядом мои друзья подтвердили это. Полицай усмехнулся, посмотрел на меня и пошел дальше. Ясно, что он выполнял свою роль за лишний кусок хлеба и не старался особо выслужиться. На этот раз я был спасен. Из рядов вывели десятка два явных евреев, и немцы с побоями их увели. Евреев-военных (Waffenjuden) они считали особо опасными и уничтожали их немедленно. Вечером в камере ко мне подошел пленный лет сорока, мой бывший сослуживец еще по роте связи в 600-м СП, телефонист: «Ты что же, жид, не вышел, комиссар хреновый?» (Сказано было крепче.) Я промолчал, а Гуреев и Кузнецов отогнали его. Надо мной нависла смертельная угроза. Нужно было любой ценой скрыться от этого гада, который явно собирался донести на меня.

И, можно сказать, мне повезло. Рано утром, когда нас выпустили из камер на тюремный двор, там стали выкликать: «Казачки есть?» Наша дружная пятерка рванулась вперед и встала в строй мнимых казаков. Таких набралось человек сто; нас вывели из тюрьмы и снова – в товарные вагоны. Выдали по куску макухи и повезли, на этот раз в Шепетовку. Здесь, в Шепетовке (я знал о ней по роману Н. Островского «Как закалялась сталь»), за городом

устроили похожий на Миллеровский лагерь под открытым небом, но не очень большой. Здесь было тысячи три-четыре пленных «казаков». Были среди них и настоящие казаки, но, по-моему, меньшинство.

В Шепетовке впервые прошли письменную регистрацию. Я назвался Бружа Леонид Петрович; отец – кубанский казак из Темрюка, мать – татарка, вырос в детском доме, был студентом института связи, рядовой. Фамилия казалась несколько странной, но я никак не мог от нее отвязаться, окружающие так меня называли. Имя и отчество позаимствовал у своего друга – одноклассника в Симферополе, Темрюк – у однокашника по ИФЛИ Льва Якименко, кубанского казака. В Темрюке я так никогда и не побывал. Своей легенды придерживался все годы плена, хоть она мало походила на достоверную. Трудность была не в легенде, а в моем несоответствии ей. Все же я был похож на еврея, а не на казака. Спасало отчасти то, что казачество этнически неоднородно, что отмечают многие авторы, в частности Шолохов, произведения которого я хорошо знал.

По лагерю ходили настоящие казаки – бывшие белогвардейцы – и призывали вступать в казачьи отряды на службу немцам, обещали всякие блага. Проводили митинги, выступали офицеры в дореволюционной казачьей форме, взывали к казачьему долгу и патриотизму. Но даже если среди нас и были настоящие казаки, то на службу к немцам пошли единицы. Подавляющее большинство не поддавалось на уговоры и предпочитало голодную смерть предательству. В плену мы очутились не по своей воле, не считали себя предателями и не были ими, хотя знали, что советское руководство всех пленных объявило изменниками.

Наша пятерка держалась все время вместе; кое-кто стал терять надежду и веру в грядущую победу Красной Армии. Я, как мог, убеждал друзей, что победа Советского Союза исторически неизбежна. Стрельцов говорил мне: «Сам-то доживи, ведь выявят тебя, в конце концов». Но я стал укрепляться духом. Познакомился со многими другими пленными, в частности, с Иваном Шевченко, с которым потом снова свела судьба.

В Шепетовке продержали нас около месяца. Не дождавшись массового вступления в казачьи отряды, стали вывозить в другие лагеря. Наша пятерка неожиданно была разделена. Мы с Толей Кузнецовым попали в Днепропетровск, опять в тюрьму, а трое друзей остались тогда в Шепетовке. Так мы оказались оторванными от своих товарищей, с которыми вместе служили и вместе попали в плен. Из Днепропетровской тюрьмы вывозили несколько раз на работы в цеха разрушенных заводов, опять выламывали паркет и прекрасные половые доски. Немцы не гнушались никакими трофеями.

Наступил октябрь, становилось холодно, шли дожди, я был без шинели. Шинелью Кузнецова мы укрывались вдвоем ночью, но днем ее вдвоем не наденешь. Очень голодали. Кормежка все та же: пол-литра баланды и 100 граммов хлеба с примесями в день. Запомнились некоторые события 13–14 октября 1942 г. Утром 13 октября, оголодавший до предела, я обменял с поваром свои ботинки на буханку хлеба, бадью с 12-литрами густой баланды и тряпичные тапочки. Сели мы с Толей Кузнецовым и все съели часа за два. Намеревались хлеб отложить на вечер, но не стерпели, доели сразу же. Договорились, что в следующий раз он обменяет свои ботинки. Но не пришлось. Днем объявили построение той части пленных, которые прибыли из Шепетовки. Провели перекличку по шепетовской письменной регистрации. Приказали разуться – снять сапоги и ботинки, у кого были, сложить у ног шинели, ножи всех видов. Немецкие солдаты и полицаи обошли шеренги, отобрали все это, попутно обыскав каждого. После этого объявили, что завтра нас отправляют в Германию. Отделили нас от остающихся, а утром 14 октября погрузили в товарные вагоны, выдали по куску макухи и повезли.

На вокзал шли почти босиком. Я имел хотя бы тапочки, а большинство, в их числе и Толя Кузнецов, шли в портянках, закрепленных обмотками или шпагатом. Получилось, что я случайно выгадал – один раз мы с Кузнецовым все же наелись досыта за счет моих ботинок.



Везли нас девять дней в товарных «теплушках» без отопления, с нарами и парашей; открывали двери на остановках на пустырях, чтобы под охраной вылили содержимое параш. На станциях вагоны не открывали. Только в Варшаве вдруг открыли вагоны, но из них не выпускали. Здесь мы увидели поляков-железнодорожников, которые отнеслись к нам равнодушно. В пути кормили один раз в день – давали по куску макухи и воды.

## Плен. Германия

23 октября 1942 г. мы прибыли к месту назначения. Выгрузились из эшелона. Шел дождь с мокрым снегом. Длинная колонна советских военнопленных без ботинок и шинелей шлепала по грязи несколько километров, подгоняемая солдатами с собаками и криками «Schnell» (шнель – быстро). Привели в огромный лагерь, застроенный большими бараками. Лагерь был окружен двойной высокой (2,5–3 м) оградой из колючей проволоки с постовыми вышками, на которых стояли немецкие солдаты, вооруженные автоматами и ручными пулеметами. Поместили нас в карантинные бараки. Все были немывтыми несколько месяцев, завшивели страшно. Полы в бараке покрылись вшами; мы «развлекались»: положив лист бумаги на пол, смотрели, как он шевелился над ползающими вшами.

Немцы с полным основанием боялись сыпного тифа. Поэтому следующий день начали с бани, где остригли наголо, дали по кусочку песчаного мыла, которым мы «побанились», потом нас прогнали через комнату, где здоровенные полицаи мазали малярными кистями все наши волосные места какой-то мазью с запахом дегтя. Этот барьер я проскочил, т. к. было много татар (т. е. обрезанных). Нашу одежду всю отняли, выдали нательные рубахи и кальсоны, явно советские, сильно поношенные, но чистые, брюки и кителя синего цвета – перекрашенное обмундирование немецких солдат времен Первой мировой войны, такие же шинели и пилотки. На всех частях обмундирования сзади и спереди были нанесены яркой желтой краской огромные буквы «SU», т. е.

«Sowjetunion» – Советский Союз. Выдали и обувь – деревянные колодки, выдолбленные из цельного куска дерева. Они известны были мне по художественной литературе. Но я, читая в свое время французских и других западноевропейских писателей, не предполагал, что мне доведется когда-нибудь носить описанную ими обувь простонародья – «сабо» и как это будет неудобно, а порою и мучительно.

Попали мы в один барак с Толей Кузнецовым и со знакомым по Шепетовскому лагерю Иваном Шевченко. В бараке – трехэтажные нары; на них на каждого – матрац из бумажной сетки, набитый бумажной лентой. Вместо одеяла – такой же матрац холодный плюс своя шинель, которую надо оберегать, чтобы не уворовали. Полы – кирпичные. В бараке – две или три железные печки типа «буржук». Топлива (брикетированного угля) давали мало, и было очень холодно.

Перед размещением по баракам прошли письменную регистрацию. Заполнили подробную анкету, сняли с нас отпечатки пальцев и взяли подписку об обязательстве исполнять законы о расовой чистоте: не вступать в связь с немецкими женщинами. За нарушение расового закона – смертная казнь. Нас это не пугало – нам было не до женщин.

Характерная примета: в любом сборище мужчин, особенно молодых солдат, если они сыты и здоровы, главная тема разговора – женщины. Но если мужчины оголодали, притом длительное время, то главная тема разговоров – еда. О женщинах если и вспоминают, то только о том, как они вкусно готовили и сытно кормили.

Итак, я зарегистрировался вновь как Леонид Петрович Бружа, русский, казак (!), мать –

татарка, родился в 1922 г. в Темрюке, рядовой, студент института связи (не писать же, что студент идеологического вуза, а определенную степень образованности не скрыть). Присвоили мне номер «Stalag IVB 204728» и выдали «паспорт» – металлическую пластинку с перфорацией посередине; на пластинке этот номер был выдавлен. Пластинку каждый военнопленный обязан был носить на веревочке на шее; за утерю – строгое наказание. Храню эту пластинку как память о плене до сих пор. У Толи Кузнецова номер был 204727. Слово «Stalag» – сокращение от «Stammlager» – стационарный лагерь (для военнопленных). Этот лагерь находился в Земле Саксония, возле городка Мюльберг на Эльбе.

&lt;...&gt;

Но возвращусь к собственной судьбе. Дезинфекция, которую мы прошли при поступлении в лагерь, запоздала. В бараках вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Мы с Толей Кузнецовым были в числе первых жертв. Через три-четыре дня Кузнецова отправили в сыпнотифозный барак-лазарет, а на следующий день и меня. Как производилось выявление больных – не помню. Вероятно, специально ходили по баракам русские врачи из числа военнопленных. Я к тому времени уже потерял сознание. В эти же дни заболел сыпным тифом и Иван Шевченко.

Пробыл я без сознания дней пять-семь. Помню отчетливо одну невероятную сценку: я в полусознательном состоянии, в бреду выкладываю всю свою биографию и подноготную – и кто я по национальности, и где учился, и как был комсоргом и заместителем политрука. Чувствую, что возле меня стоит высокий человек, держит меня за руку, успокаивает, а я не могу остановиться. Как я потом узнал, это был врач, тоже военнопленный, доктор Клименко. Мы ни разу не говорили с ним потом о моей исповеди в бреду, но я ее запомнил и чувствовал, что это он дежурил возле меня. Никто другой моего бреда не услышал, все больные рядом на нарах тоже лежали без сознания.

Доктору Клименко я обязан своим спасением и как врачу, и как человеку. Он не только не выдал меня, но и продержал в сыпнотифозном бараке до февраля 1943 г., когда эпидемия тифа сошла на нет и сыпнотифозный барак превратился в обычный лазарет. Большинство военнопленных советских врачей – подвижники. В тяжелейших условиях, почти без медикаментов и перевязочных средств, при мизерных продовольственных пайках, под неусыпным надзором немцев они делали все возможное и невозможное для спасения попавших в беду советских солдат. Ожидала ли их благодарность? Вполне вероятно, что многим из них после фашистского плена пришлось испытать горькую долю узников сталинского ГУЛАГа.

Сыпнотифозная эпидемия в лагере шла волнами. Когда первая партия заболевших, к которой принадлежали Толя Кузнецов и я, стала постепенно приходить в себя, выздоравливать, поступала следующая группа больных без сознания. На этой стадии болезни больные ничего не ели, и это выручало выздоравливающих, у которых разыгрывался зверский аппетит – им доставалась баланда, картошка и хлеб людей, находившихся еще в тяжелом состоянии.

До 30 процентов заболевших умирало от тифа и наиболее частых осложнений – воспаления легких и поноса. Лечить было нечем. Почти никаких лекарств в распоряжении врачей не было. Были только медицинские градусники. В бараке, кроме доктора Клименко (имя и отчество его я, увы, забыл), был еще один – нештатный – врач из первых заболевших. Не помню точно его фамилию – то ли Сапунов, то ли Сафонов. В отличие от Клименко – невысокий, плотный, он, видимо, обладал большим опытом и помогал Клименко. О Сапунове говорили ребята, что он был захвачен в последний день обороны Севастополя и что ему – единственному из медиков – было присвоено звание Героя Советского Союза. Сам он ничего о себе не рассказывал. Как и Клименко, он относился ко мне доброжелательно и покровительственно и, как я понимаю, тоже прикрывал меня. Оба они были не только врачами и русскими людьми, они были советскими людьми. Мы не выясняли отношений, это было бы опасно, но и без разговоров все было понятно.

Первые месяц-полтора немцы даже не заглядывали в сыпнотифозный барак, панически опасались заразы. Но потом один раз в неделю лазарет навещал немецкий военный врач, усаживался на стул, перед ним в трех-пяти метрах представляли больного, тот снимал одежду, и немец издали «осматривал» его, слушая разъяснения Клименко. Не помню, был ли при этом переводчик, или сам Клименко докладывал по-немецки. Выздоровевших выписывали. На каждого больного вели, как и положено, историю болезни, которую и держал в руках Клименко. Что он докладывал обо мне, как ему удалось задержать меня в лазарете до февраля – не знаю. И по этому поводу никакого разговора между нами не было. Месяцы, проведенные мною в лазарете, были, пожалуй, судьбоносными в моей жизни. В это время в лагере шла тщательная проверка всех пленных, выискивали евреев и комиссаров. Найденных или расстреливали здесь же, или увозили в лагерь смерти. А в сыпнотифозный барак проверяющие не сунулись. Видимо, Клименко знал все это и спасал меня в своем лазарете.

В начале декабря одним из первых выписали из лазарета Толю Кузнецова. Перед расставанием мы обнялись и даже прослезились. Порвалась последняя ниточка, связывавшая меня с друзьями-сослуживцами по Красной Армии. Больше мы с ним не встретились. Когда я вышел из лазарета, Кузнецова уже куда-то отправили из шталага.

В лазарете я сблизился с Иваном Шевченко – настоящим русским богатырем, знакомым еще по лагерю в Шепетовке. Это был великан двухметрового роста, с большими мощными руками, рыжеватый, весь в веснушках и... татуировках. Донской казак, он, по его словам, провел много лет в советских лагерях – за разбой. Как он говорил, сроков он нахватал лет на 100, но как-то освобождался каждый раз. Перед войной он оказался на свободе и был призван в Красную Армию. В плен он попал в мае 1942 г. вместе с десятками тысяч красноармейцев в Керченском сражении, проигранном бездарными командующими Козловым и Мехлисом. Человек огромной физической силы, Иван Шевченко вызывал невольное уважение у немцев. Они называли его «Der Grosse Iwan» – «Большой Иван» и даже иногда подкармливали сверх нормы, учитывая его размеры. И вот этот Иван, отсидевший годы в советских тюрьмах и лагерях, сохранял верность Родине и отвергал многократные попытки завербовать его в казачьи отряды или позднее во власовскую РОА, избрал горькую судьбу военнопленного и голод. В середине декабря его выписали из лазарета.

Еще в лазарете вокруг меня начала складываться небольшая группа ребят, не очень грамотных, но любивших слушать рассказы о приключениях. Часами я пересказывал им приключенческие книги: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Всадник без головы» и т. п. Так появились новые товарищи, и немного стало легче на душе. Я не был с ними откровенен, но, думаю, Иван догадывался, кто я на самом деле, и помалкивал. Выручала меня моя чистая русская речь, говорил я по-русски не хуже природных русаков. С этой стороны мне не угрожала опасность. Тот факт, что я понимаю немецкую речь, я скрывал, хотя иногда это проявлялось. Скрывал потому, что современный бытовой еврейский язык, жаргон «идиш» – производный от немецкого языка, хотя и далекий от него. Евреи, владевшие языком «идиш», понимали немецкий, как русский понимает украинский и белорусский языки, не полностью, но все же многое. В этом и таилась опасность для меня.

Я, кстати, понимал немецкую речь отнюдь не потому, что знал еврейский. Я не владел разговорной еврейской речью, только понимал ее частично. Полужнание же немецкого языка я приобрел в ИФЛИ, особенно на 2-м курсе, когда по программе надо было сдавать в больших объемах внеклассное чтение (первоосновой для меня послужил роман Стефана Цвейга «Фуше»).

Новый 1943 год преподнес нам замечательный подарок. Вечером 31 декабря человек пять выздоравливающих и два штатных санитаря собрались за столом, который стоял на краю барака у двери в отдельную комнату, где был врачебный кабинет и где спали доктора Клименко и Сапунов. В 12-м часу (у Клименко были ручные часы) к нам присоединились оба

доктора, вынесли бутылочку спирта, налили нам граммов по 20, дали на закуску по две вареные картофелины. Но главным подарком была русская белоэмигрантская газета (названия не помню), в которой было напечатано сообщение Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Германии о том, что в районе Сталинграда немецкие войска в окружении ведут упорные бои с превосходящими силами противника. Так мы впервые узнали о наступлении Красной Армии под Сталинградом, о поражениях фашистских войск. Мы выпили спирт, разбавив его водой, за победу Советского Союза, за Новый год. Доктор Клименко вполголоса запел советский гимн «Интернационал», а мы подтянули «Это есть наш последний и решительный бой», потом спели несколько советских песен: «Три танкиста», «Москва моя». Для докторов это был огромный риск – им было что терять. Но они доверились нам и не ошиблись. Доносчиков среди нас не оказалось.

Наступил февраль. Сыпнотифозный барак пустел. Последние больные тифом были выписаны или умерли. Далее держать меня в лазарете доктор Клименко был не в силах, о чем он мне не при свидетелях сказал. Я поблагодарил его за все, за доброе отношение. В подробности мы не вдавались.

Снова я очутился в прежнем бараке (номера не помню), там же, где уже был Иван Шевченко и несколько новых товарищей по лазарету. Иван договорился со старшим по бараку – полицаем из военнопленных, и я поместился на втором этаже нарядом с Иваном. Он в это время был в полосе удач, приглянулся кому-то из лагерного начальства и был направлен рабочим на лагерную кухню, к котлам. Через три дня он пристроил туда же на кухню меня и еще трех лазаретных приятелей – перебирать и мыть картошку, чистить брюкву и турнепс. Это было лагерное питание. Выдавали на бараки в бидонах баланду из брюквы или турнепса из расчета пол-литра на человека, к ней в качестве «второго» по пять-шесть вареных в «мундире» картофелин и на десять человек килограммовую буханку хлеба с примесью особой для пленных выпечки. Мы, кухонные рабочие, хлеб получали в своем бараке.

Хлеб делили по справедливости. Хлеборез и весовщик разрезали буханку и развешивали пайки на самодельных весах типа аптекарских, с заостренными палочками на концах. Один из десятка поворачивался к хлеборезу спиной и на вопрос «кому?» называл имя. Так каждому попадала его пайка. Верхом удачи считалась горбушка.

Иван был близок к кухонной аристократии у котлов, мы же находились вдалеке, нам запрещалось подходить к котлам. Все же здесь на кухне мы были относительно сыты. Нам наливали полные котелки баланды и давали по 10–12 картофелин, причем дважды в день. В лагере кормили один раз в день. Однажды Иван стащил и принес нам кусок вареной конины килограмма на три. Вот уж когда поели досыта. Морально мы не страдали: знали, что эта конина все равно до масс не дойдет, ее съедят повара, полицаи и им подобные. Увы, «недолго музыка играла». Мое кухонное «счастье» длилось менее месяца. От острого авитаминоза я снова заболел: у меня появился под мышкой огромный, очень болезненный нарыв, так называемое «сучье вымя». Не мог ни шевельнуться, ни, так сказать, чихнуть. В лазарет меня Клименко не поместил, сказал, что будет выглядеть подозрительно; дал справку об освобождении от работы (было и такое). Только через две недели нарыв в лазарете вскрыли, стало легче.

Но на кухню я не вернулся. Наоборот, по сокращению штатов оттуда уволили и нашу бригаду и самого Ивана Шевченко. Из шталага, который был центральным лагерем в Саксонии, постоянно отправляли пленных в другие – «рабочие» лагеря (Arbeitskommando). Массовых новых поступлений советских военнопленных в 1943 г. уже не было. Поэтому в шталаге сокращался и штат самообслуживания – кухни, лазареты и проч.

Ежедневно стали гонять нас на общие работы: запрягали как лошадей в телеги, и под конвоем мы тащили их за несколько километров туда, где находились покрытые землей и соломой бурты брюквы, турнепса, картошки. Вскрывали бурты, нагружали их содержимым

телеги и везли в лагерь. Иногда удавалось съесть кусок сырой брюквы или турнепса. Часто вывозили на поля цистерны с «удобрениями» из лагерных уборных – выгребных ям.

Несколько раз пришлось перевозить страшный груз: трупы умерших от истощения и болезней товарищей по плену. Раздетые догола тела мертвых, походивших на скелеты, наваливали штабелями по 40–50 на большую телегу, и вереница телег ежедневно двигалась скорбной процессией на кладбище. Это было ровное поле без опознавательных знаков. Здесь мы запасенными лопатами вырывали траншеи глубиной метра полтора, складывали туда трупы и засыпали их землей, заравнивая поверхность. Никаких холмиков делать не разрешали. Так скрывали места захоронения военнопленных. Сколько тысяч погибло только в этом шталаге IVB? Лагерная канцелярия, наверно, их учитывала. С умерших снимали номерки, разламывали их по перфорации пополам. Видимо, одна половина оставалась в лагерной канцелярии, вторая – отсылалась в центральное управление лагерями.

Лет через 30–35, в середине 70-х гг., привелось мне в Калининском музее принимать разновозрастную туристскую группу из ФРГ. Эти туристы увидели в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, фотографию немецкого военного кладбища – ряды крестов на площади Революции перед Путевым Дворцом. Пожилые немцы, возможно, солдаты той войны, спросили меня – куда переместили тела похороненных на этой площади. Я не знал, и так ответил: «Не знаю, вряд ли это место отмечено». Тогда они спросили вторично: «Как же так, ведь это не гуманно?» И я, вспомнив безымянные, сровненные с землей захоронения советских военнопленных близ шталага IV B, ответил на этот раз резко и зло: «Чего же вы хотите? Ведь мы их к нам не приглашали!» Сказал им это по-немецки, минуя переводчика: «Was wollen Sie doch? Wir haben sie zu uns nicht eingeladen!» На их вопросительные взгляды добавил, что я, как военнопленный, был в лагерях в Германии и помню, как хоронили наших.

В последней декаде мая 1943 г., когда было уже тепло, под вечер несколько телег, запряженных военнопленными, отправились за брюквой. Конвоировал нас на этот раз всего один солдат. Пока мы возились у бурта, стемнело. Немец покрикивал – «шнель» (быстро). И вдруг мы с Иваном Шевченко и еще одним лазаретным товарищем решили бежать и скрылись в ближних, уже покрытых листвою кустах. Конвоир этого не заметил, пересчитывать упряжки не стал, они отбыли. Побег наш был неожиданным для нас самих, совсем не подготовлен. До сих пор не понимаю, как немцы нас сразу не хватились, не вернулись с собаками. Видимо, охрана у входа в лагерь тоже не пересчитывала вернувшихся – и педантичным, дисциплинированным немцам не чужда халтура.

У нас не было ни карты местности, ни какого-то предварительного плана побега и действий. Не было продуктов. На ногах – деревянные колодки, в них быстро не пойдешь. И тем не менее мы пошли, прихватив из бурта по брюквине. По звездам мы пошли на восток, шли лесами, хотя в немецких лесах особенно не скроешься – деревья в них посажены рядами, между рядами расчищено. Три ночи мы шли, выползали на лесные опушки, находили прошлогодние бурты с брюквой или турнепсом, выдирали несколько штук и ели их. С собой унести было не в чем.

Где-то в районе города Баутцен нас обнаружили мальчишки. Уйти было невозможно, их было более десяти. Двое из них сбегали в ближнюю деревню, привели полицейского. Он погнал нас под пистолетом в полицейский пункт. Номера мы свои выбросили, но по одежде ясно было, что мы советские военнопленные. Полицейские нас побили и, не допрашивая, усадили в повозку, и двое полицейских отвезли нас в город Баутцен в воинскую команду типа нашего военкомата. Там нас снова сильно избили и допросили (кто-то из унтер-офицеров говорил по-русски) – из какого лагеря мы бежали. Не было смысла отрицать истину, так как по отпечаткам пальцев все равно быстро установили бы наши личности. В результате в этот же день за нами прислали автофургон и в сопровождении двух солдат нас отвезли в «родной» шталаг.

В караулке нас опять избили и поместили в отдельную комнату прямо на пол. Утром на следующий день нас поставили перед комендантом лагеря. Он наорал на нас и сообщил, что отправляет нас в штрафную рабочую команду. Это произошло через два дня. Нас в наказание лишили в эти два дня хлебной пайки, затем выдали дубликаты номеров. Именно этот дубликат я и храню.

Итак, мы – трое беглецов и еще двое из нашей бывшей кухонной бригады (за то, что сразу не сообщили о побеге) – были отвезены на том же автофургоне в штрафной лагерь возле городка Хюэнмюле. Это был каменный двухэтажный дом. Казарма (как ее еще назвать?) для пленных находилась на втором этаже в нескольких больших залах; здесь стояли двухэтажные нары. В лагере было примерно 150 военнопленных-штрафников, главным образом, как и мы, неудачливых беглецов. На первом этаже размещались службы: караулка, кухня, склад инструментов, каптерка, где хранился мягкий инвентарь – одежда, а также обувь – деревянные колодки, в подвале – склад «продовольствия» – неизменные брюква, турнепс, картошка. Хлеб привозили из городка, но не такой, какой употребляли немцы, а специальной выпечки, с примесями. Было помещение для мытья (но не баня), уборная с выгребной ямой, в подвале – карцер.

Охранники – солдаты-нестроевики жили в отдельном одноэтажном доме. Комендантом был пожилой фельдфебель, рыжий и злой. Лагерь был огорожен колючей проволокой всего в один ряд. Ночью по территории бегали собаки, но они быстро привыкли к «своим» пленным и не обращали на нас внимания. На ночь лагерный дом запирали в 22 часа. Охранники дежурили в караулке, наружной охраны ночью не было, так как выйти из дома после вечерней поверки в 21.30 было невозможно. Окна – в толстых решетках, все перекрыто.

Лагерный режим был суровым: подъем в 5 утра, полчаса на уборную, умывание и одевание, утренняя поверка, в 5.45 строем под конвоем на работу километра за 3–4. Рабочий день начинался в 6.30 и заканчивался в 18.30, т. е. длился 12 часов. Днем в 12 часов, когда по всей Германии начинался обед, нам давали 15-минутный перерыв на отдых и тоже на обед – от фирмы, которая арендовала пленных у армии, выдавали нам по три вареных небольших картофелины. В лагере кормили один раз вечером, когда пригоняли с работы: 0,5 литра баланды из брюквы, 100 граммов хлеба, 5–6 вареных картофелин. Утром на работу отправлялись натошак.

Работа была очень тяжелой: мы пробивали в скалах (местность горная) траншею для водопровода в гор. Дрезден. Инструмент – кирка и совковая лопата. Киркой мы откалывали кусок скалы и выбрасывали вверх совковой лопатой. Над нами ходили конвоиры – человек пять, которые все время нас подгоняли, не разрешали останавливаться для передышки. Производительность нашего труда, конечно, была низкой; голодные обессиленные люди не могли трудиться эффективно, если бы даже хотели. А мы ведь работали буквально из-под палки. Конвоиры не скупились на побои.

Выделялся только Иван Шевченко, которого немцы и здесь сразу стали называть «Большой Иван» – «Der Grosse Iwan». Он был все еще силен, несмотря на голод, был ловок и хватист и мог сделать, если хотел, больше, чем гражданские немцы, работавшие с нами. Их было несколько человек – пожилых рабочих, вышедших из призывного возраста. Они исполняли обязанности мастеров – размечали траншею, следили за уровнем, обеспечивали технологию и последовательность работ и т. д. Когда было холодно, сами брались за кирку, чтобы согреться.

При рытье траншеи использовался пневматический отбойный молоток, действовавший от компрессора. С ним работал так называемый «Volksdeutsche», фольксдойче, т. е. этнический немец, проживавший до войны за пределами Германии. Этот немец – Пауль – был из Польши, понимал русский язык и немного говорил по-русски. Он и был на работах переводчиком. Я хотя и продолжал скрывать, что я понимаю немцев, но постепенно в работе

мое полужанение все же стало проявляться, и ко мне при нужде обращались немцы и свои ребята с просьбой перевести. Лично мне это не помогало нисколько и, как мне показалось, возбудило некоторые подозрения у товарищей по лагерю. Однажды в каком-то споре (чего-то не поделили) один молодой пленный назвал меня хриstopродавцем. Это указывало на то, что он считает меня евреем, и, возможно, не он один. Но никто меня немцам не выдал.

Коллективной бани в лагере не было. Немцы, опасаясь эпидемии, требовали от нас чистоты в помещении (ее поддерживали дежурные дневальные) и минимума личной гигиены. В помещении для мытья стояла печь, в которую был вмазан котел; в нем сами грели воду и каждую неделю мылись, стоя в старенькой ванне. Но я, боясь обнаружения моей неизбывной приметы, ухитрился уклоняться от мытья тела в течение 7 месяцев (!), мыл только голову. Потом все же решился и стал мыться вдвоем с Иваном Шевченко или как раз с тем Алексеем, который обозвал меня хриstopродавцем. Прикрывался, насколько было возможно. Обошлось! Для мытья выдавали так называемое мыло из смеси глины и песка. Оно не мылилось, а скребло, но, кажется, и сами немцы к концу 1943 г. получали по карточкам такое же мыло.

Нательное белье нам меняли дважды в месяц. Его стирали в городской прачечной, в специальном отделении для пленных и иностранных рабочих. В каждую смену оно все более превращалось в лохмотья и становилось объектом развлечения. Когда получали белье, начинался между нами обмен «не глядя», возбуждая громкий хохот при виде обрывков, которые невозможно было даже определить, что это – рубаха или кальсоны. После многочисленных обменов становились владельцами этих все же чистых лохмотьев на две недели, чтобы потом получить еще худшую рвань. Портянки стирали сами.

На траншее пришлось выполнять и бетонирование, таскать на себе 50-килограммовые мешки с цементом (бумажные), возить на одноколесной тачке по прогибающейся доске песок, гравий, бетон. Мне этот вид работы, при моем физическом слабосилии, обостренном постоянным голодом, был особенно тяжел. Я часто не справлялся с тачкой, она преждевременно опрокидывалась, а я получал добавочные побои.

Наступившую зиму преодолевать было очень трудно. Каждый шаг в деревянной обуви был мучителен. На колодки налипал снег, превращался на ходу в бугры, ноги подламывались, сбивать эти горки было затруднительно, да и сразу же налипали новые. Конвоиры орали на нас из-за медленного марша, били прикладами, подталкивали штыками.

Даже Иван Шевченко стал сдавать, хотя ему удавалось урвать дополнительную подкормку. Ему доверили отбойный молоток, и он однажды специально, якобы нечаянно, пробил себе ступню, тем самым на месяц освободив себя от ежедневной 12-часовой траншеи. Вечера стали темными. Иван подрезал в одном месте проволочную ограду, вылезал из лагеря и с раненой ногой, обмотанной портянкой и не влезавшей в колодку, бежал километра за два-три, набирал из полевого бурта картошки или брюквы, разрывая и покрывая потом бурт голыми руками. Наполнял мешок (где-то он его добыл) и тащил его в лагерь, успевая все это сделать за два часа, чтобы успеть к вечерней поверке. Такой рейс он проделывал еженедельно, кормился сам и подкармливал немного двух-трех доходяг, включая и меня. Немцы не обнаружили эти минипобеги ни разу! На настоящий побег, помня горький опыт, ни Иван, ни другие не решились.

Отличительной чертой этого штрафного лагеря было отсутствие в нем полиции и штатного переводчика из пленных. Летом 1943 г., после Сталинградского и особенно после Курского сражения, в лагерях для пленных фактически произошла революция: полициям из своих стали устраивать «темную», убивали их и трупы выбрасывали в выгребные ямы. Немцам воспрепятствовать этой революции не удалось, во всяком случае в тех лагерях, в которых мне довелось побывать или слышать о них. Тогда полицаев и других прислужников немцы стали переводить в другие лагеря – обычными, так сказать, рядовыми. Но иногда молва

настигала их, и на новом месте их также ожидала смертная расправа. В охране нашего лагеря были солдаты-чехи; некоторые из них кое-как объяснялись по-русски, таким путем передавались распоряжения коменданта. Был ли штатный переводчик-немец, не помню.

Через некоторое время трасса траншеи привела нас на окраину деревни. Здесь был обыкновенный суглинистый грунт. Траншеею стали рыть более глубокой, стенки укреплять дощатой обшивкой и распорками, устроили «межэтажные» мостки, на которые выбрасывали грунт снизу. Но труд не стал легче, так как сил не было совсем.

В деревне я пережил счастливый день, если можно назвать счастливым день в плену. Однажды, когда конвоиры отошли в дальний конец траншеи, я выбрался из нее и забежал в находившийся метрах в тридцати магазинчик. В нем стоял за прилавком хозяин – пожилой немец. Я попросил у него хлеба. И, о – чудо! Он снял с полки и протянул мне 2-килограммовую буханку настоящего хлеба, такого, какой выдавали немцам по карточкам. Я ухватил эту буханку, сунул за пояс в брюки и успел добежать к своему рабочему месту до возвращения конвоира. И вот в течение двух часов я потихоньку отрывал по кусочку от буханки и с жадностью сжирал всухую без воды, ни с кем не делаясь. К этому времени каждый думал только о своем выживании, мы превратились в животных. Иван Шевченко на работу все еще не выходил. Вечером, когда нас пригнали в лагерь и выдали питание, я отдал ему свою хлебную пайку, а баланду съел сам. Намеревался отложить на утро пять вечерних картофелин, но не вытерпел, съел перед сном. Утром, как всегда, на траншею – натоцак.

Наступила весна 1944 г. Дни стали длиннее, и Иван уже не мог вылезать по вечерам из лагеря за добычей. Никакой подкормки не стало не только у меня, но и у него самого. Я совсем обессилел, уже фактически не работал, больше стоял. На меня сыпались побои, в лагере несколько раз лишали хлеба и картошки, сажали в подвальный холодный карцер без одежды на ночь, а утром – снова на траншею, рыть которую сил не было. Особенно унижительным было наказание бессмысленным трудом. Ставили со мной еще одного проштрафившегося, я перебрасывал ему в кучу из своей кучи зимой снег, а весной гравий, а он – из своей кучи в мою. Это оскорбление последних остатков человеческого достоинства я воспринимал болезненно, неосторожно огрызался и опять схватывал новое наказание. Казалось – мне пришел конец...

По всей видимости, я и подобные мне доходяги надоели коменданту. Убить нас не убили; мне представляется, что, в связи с поражениями Германии на фронтах, немецкие солдаты, охранявшие пленных, начали задумываться о своей ответственности перед будущими победителями. От нас избавились простейшим способом – в марте 1944 г. меня в числе десяти других дистрофиков перевезли в другой – «обычный» рабочий лагерь в город Дрезден. Лагерь этот помню плохо. В нем было до 300 пленных. Он размещался непосредственно в городских кварталах, возможно – в бывших военных каменных казармах. В больших залах стояли трехэтажные нары с теми же бумажными матрацами и одеялами. Я уже с большим трудом взбирался на второй этаж нар.

На работу гоняли на окраину Дрездена рыть продолжение траншеи под тот же водопровод. Часть пути везли даже на трамвае. Некоторых пленных направляли на другие объекты. Траншея продвигалась медленно. Фирма перестала давать «обед» – три картофелины – тем, кто плохо работал. Я сразу же попал в эту категорию. Затем, сославшись на опыт советских лагерей, начальство ввело дневную норму – от 2 до 8 кубометров выемки грунта по характеру грунта. В зависимости от выполнения нормы поставили продолжительность рабочего дня и размеры продовольственного пайка – не выполнившим нормы не только не давали обеденных картошек, но и лишали половины пайки хлеба и баланды вечером в лагере.

В результате я слабел все больше и больше, опух. Даже половина рабочей нормы была мне не под силу. Меня задерживали на траншее после окончания рабочего дня; сперва задерживали и всю группу пленных рабочих, чтобы они ожидали, пока я как-то дотяну.



Большинство по праву отдыхало, но несколько человек, несмотря на неодобрение конвоя, помогало мне. Но так длиться долго не могло. Озлоблялись товарищи по несчастью, озлоблялись гражданские немцы, но более всех конвоиры, которым тоже приходилось задерживаться. Наконец, оставили на траншее меня одного и при мне молодого плюгавого солдата, видимо, нестроевого. Я еле ковырялся в траншее; конечно, о каком-нибудь выполнении нормы не могло быть и речи. Солдатик помалу свирепел. В девятом часу вечера он приказал мне вылезать: «гаус!» (т. е. heraus – вон!) и повел меня к трамвайной остановке, подталкивая прикладом и штыком.

Я едва передвигал ноги. Встречные гражданские немцы глядели нам вслед; некоторые, по-видимому, испытывали что-то похожее на жалость. Обычно для перевозки группы пленных подавался отдельный трамвайный поезд. Но теперь нас было только двое и мы сели в общий вагон. Немки смотрели на нас обоих с жалостью. Возможно, им представлялось, что их чей-нибудь сын вот так же страдает в плену в далекой России. Обстановка на фронтах изменялась не в пользу Германии, и немцы, до того безусловно поддерживавшие Гитлера и его войну, начинали прозревать. Когда мы высадились из трамвая, солдат подгонял меня к лагерю только словами, не употребляя больше штыка. В нем тоже что-то изменилось.

Дело было в субботу, на следующий день на работу не гоняли, и я отлеживался на нарах без всякой надежды на следующий день. Ждать помощи было неоткуда и неоткуда. Друзей здесь у меня не было. Иван Шевченко остался в лагере в Хюэнмюле. Пленные из этого лагеря, переведенные вместе со мною в Дрезден, были сами почти в таком же состоянии. Но я решил бороться до конца. Мне стало известно, что в дрезденской «Рабочей команде» нескольких пленных увезли в лазаретный лагерь из-за заболевания энурезом, т. е. недержанием мочи. Будет ли лучше в лазаретном лагере – никто не знал. Никто не верил в милосердие немцев. Но лазарет означал изменение обстановки, а к этому стремилось большинство пленных.

И я задумал инсценировать энурез. Ночью я помочился прямо на нарах, вызвав большой шум, т. к. моча, естественно, попала на лежащего подо мной. Он дал мне по морде, обещал пожаловаться немцам. Той же ночью я повторил проделку; мне было жалко и неудобно перед нижним товарищем, но я не видел другого средства вырваться из дрезденского лагеря, где мне грозил близкий конец. Опять я получил по морде, и мой «партнер» пошел утром жаловаться немцам. Привели меня в караулку, тоже стукнули несколько раз и решили избавиться от меня. Пока хоть на работу не повели.

А там, кстати, все взбунтовались против нормы, и ни один, по договоренности, на этот раз норму не выполнил. Ни побои, ни лишение обеденных картофелин не помогли. Дня два продолжалась эта борьба, и норму отменили. Как мы знаем теперь, в советском ГУЛАГе такой номер бы не прошел, бунт закончился бы жестокой расправой. И здесь было бы все иначе, если бы лагерь был подчинен эсэсовцам. Но это был обычный лагерь военнопленных, подчиненный армейским структурам, где порядки были менее суровы, чем в концлагерях ведомства Гимmlера.

На следующую ночь меня поменяли местами на нарах с соседом, переместив на нижние. Ночью я не дождался от потерпевшего выполнения угрозы отомстить мне тем же средством. А сам я с умыслом опять напустил лужу на нары. Утром вместе с охранником пришел посмотреть на лужу немецкий военный фельдшер. В тот же день меня в сопровождении конвоира на местном поезде доставили в лазаретный лагерь в километрах пятидесяти от Дрездена.

Ни названия, ни литерного обозначения лагеря-лазарета я уже не помню. Возможно, «IV-C» или «IV-D», а может быть, другое. Это было большое пространство, заполненное деревянными бараками зеленого цвета, окруженное колючей проволокой с неизменными сторожевыми вышками. Внутри лагерь тоже был разделен проволочной оградой на русскую и западноевропейскую части.

На этот раз мне повезло. Не знаю, по какой причине меня поместили в небольшой барак, разделенный на отдельные комнаты-палаты. Я попал в офицерскую палату на восемь человек. Впервые в плену я встретился с каким-то выделением советских офицеров. В тех лагерях, где я бывал до сих пор, офицеров не отделяли от общей массы, и если кто-то объявлял себя офицером, то ему доставалось тяжелее, чем другим.

Не то было у пленных из армий остальных противников Германии, находившихся под защитой Международного Красного Креста. Пленные офицеры работали только по согласию, им были оставлены все личные вещи и кортики, у кого они были. Они носили собственное обмундирование со знаками различия, награды. И офицеры и рядовые западных армий, а также поляки и сербы получали ежемесячно посылки от Красного Креста; могли написать родственникам по другую линию фронта и получить от них весть один раз в месяц. Лишь советские (а впоследствии и итальянские) военнопленные не имели защиты Красного Креста, так как И.В. Сталин в свое время не считал нужным подписать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и, считая всех военнопленных изменниками, обрек их на гибель, голод и самую жестокую судьбу.

Общие порядки в русской части лагеря-лазарета были такие: подъем в 7 утра, собственный туалет, утренний строй и поверка (лежачие оставались в палатах), уборка в палатах и на территории лагеря по очереди, устанавливаемой русской администрацией лагеря (были старший офицер, главный врач, хирург, два-три ординатора, два переводчика). Действовала и регистрационная канцелярия, о ней я еще скажу. Кормили советских военнопленных один раз в день. Рацион – не для выздоровления, а для подведения к летальному исходу. Та же, но пожиже, баланда из брюквы или турнепса, пять вареных мелких картошек, и, так как лагерь не рабочий, та же буханка хлеба, но не на 10, а на 25 человек, т. е. по 40 граммов на пленную душу.

Раз в неделю осматривали русские врачи. Терапевтическим больным было лишь два назначения: либо постельный, либо ходячий режим. Кстати, о постелях: впервые в плену мы спали не на нарах, а на железных солдатских койках, покрытых тюфяком и простыней (!); давалось байковое одеяло. Дело, видимо, было в том, что западноевропейскую часть лагеря иногда посещали представители Международного Красного Креста из Швейцарии. Они могли ненароком заглянуть и в советское отделение. Поэтому немцы соблюдали здесь внешние приличия. Раз в неделю водили нас в баню, меняли нательное белье, которое было относительно целым. Словом, не плен, а «рай». Но, увы, лекарств не было, голод был еще острее; смертность в лагере – большая. Дошедших до последнего края увозили, по слухам, в Польшу и там, якобы, передавали доходяг советским войскам. Только значительно позднее дошла до нас правда – их увозили в лагерь смерти типа Освенцима, прямым ходом в крематорий. Повернись иначе колесо Фортуны – быть и мне там.

Но иногда и в несчастье выпадает счастливый жребий. Я попал случайно в палату лагерной элиты. Большинство сопалатников были офицерами в звании майора и выше. Старшим по палате был доктор Ушкалов, который до того был в другом большом лагере главным врачом и был снят с этого поста немцами по подозрению в подпольной работе и содействии побегам военнопленных. Прямых доказательств немцы сперва не нашли и, не передав Ушкалова в гестапо, отправили в наш лазаретный лагерь. К тому времени, когда я попал сюда, он провел здесь около месяца, пользуясь сочувствием русской администрации и врачей лазарета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, перейдя по ссылке <http://www.litres.ru/aron-shneer/obrechennye-pogibnut-sudba-sovetskih-voennoplennyh-evreev-vo-v-toroy-mirovoy-voyne-vozpominaniya-i-dokumenty/?lfrom=329574480> и купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Примечания

1

В публикацию вошли фрагменты неопубликованной мемуарной книги автора, соответствующие ее главам 2 («Война»), 3 («Плен»), 4 («Плен. Германия») и 5 («После войны. Первые месяцы»). Оригинал – в архиве автора. Сердечная благодарность его сыну, В.И. Кононову, за помощь в подготовке этой публикации. –

Сост.

2

Из стихотворения А. Твардовского «Пускай до последнего часа расплаты» (1941).

3

В то время в Красной Армии еще не употребляли термин «офицеры»; они назывались командирами.

4

Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. Издание третье. М.: Военное издательство, 1984. С. 150.

5

Великая Отечественная война Советского Союза. С. 149.

6

Из стихотворения «Мое поколение» (1945).

7

Великая Отечественная война Советского Союза. С. 150.

8

См., например, энциклопедию «Великая Отечественная война. 1941–1945». М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 348, 420.